

NON-FICTION

Яков Гордин

ГИБЕЛЬ
ПУШКИНА

ПРАВО
НА ПОЕДИНОК
ПУШКИН И ВЛАСТЬ

« А З Б У К А »

18+

Non-Fiction. Большие книги

Яков Гордин

**Гибель Пушкина.
Право на поединок**

«Азбука»

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос-Рус)1-8

Гордин Я. А.

Гибель Пушкина. Право на поединок / Я. А. Гордин — «Азбука»,
— (Non-Fiction. Большие книги)

ISBN 978-5-389-33362-8

В настоящее издание вошли две книги Якова Гордина – известного писателя, публициста и историка: «Гибель Пушкина» и «Право на поединок. Пушкин и власть». В первой из них прослеживается судьба Пушкина с 1831 года, когда начинается зрелый этап в творчестве поэта, он женат и полон сил. Тем не менее многие его важнейшие начинания терпят крах. Пушкин предстает как серьезный историк и политический мыслитель, провидевший будущее Российской империи, но оставшийся непонятым не только царем, его приближенными и критикой, но подчас и собственным окружением. Основа сюжета второй книги – противостояние Пушкина идеологии «просвещенного рабства», проводимой в Николаевскую эпоху министром просвещения С. С. Уваровым. Повествование о последнем годе жизни поэта разворачивается на фоне судеб его современников (М. Ф. Орлов, М. М. Сперанский, П. Д. Киселев, А. П. Ермолов, П. А. Вяземский), как и он, вступивших в неравную борьбу с имперской бюрократией и не сумевших переломить развитие общественно-политического процесса в России. Этот широкий исторический контекст позволяет понять масштаб тяготивших Пушкина проблем, которые он пытался разрешить. Издание адресовано самому широкому кругу читателей – всем, кого увлекают вопросы русской истории и литературы.

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос-Рус)1-8

ISBN 978-5-389-33362-8

© Гордин Я. А.

© Азбука

Содержание

Гибель Пушкина	8
От автора	8
1831	13
1832	39
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Яков Аркадьевич Гордин
Гибель Пушкина. Право на поединок

© Я. А. Гордин, 2026

© Челябинский государственный музей изобразительных искусств, 2026

© Оформление

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

NON-FICTION



Яков Гордин

ГИБЕЛЬ ПУШКИНА

♦

ПРАВО НА ПОЕДИНОК

ПУШКИН И ВЛАСТЬ



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Гибель Пушкина 1831–1836

От автора

Рискуя быть заподозренным в нескромности, я позволю себе внести в это предисловие автобиографический элемент.

«Гибель Пушкина» – или, как это сочинение было названо при первой публикации в «Звезде», «Годы борьбы» – стала первой моей значительной публикацией. Мне было 38 лет. До этого для меня главным собственно литературным занятием было писание стихов и критических статей.

В 1967 году ленинградский ТЮЗ поставил мою пьесу. После неофициального успеха тюзовского спектакля ленинградские театры стали заказывать мне пьесы, а контролирующие инстанции с такой же последовательностью их запрещали. И как я теперь уверен, это пошло мне как литератору на пользу.

Параллельно со всем остальным я с середины шестидесятых стал прилежно заниматься тем, что можно назвать независимыми историческими исследованиями. Начал я с декабристов и естественно и неизбежно пришел к Пушкину.

Очевидно, я бы писал и публиковал крупные вещи и ранее 1974 года, но волею могучих обстоятельств оказался в «черном списке», что означало запрет на публикации, и вынужден был зарабатывать телевизионной работой под псевдонимами. Впрочем, выручали меня и старые театральные связи.

Запрет с меня был неожиданно и без всяких моих усилий снят в 1972 году, когда вышла книга моих стихов, пролежавшая в издательстве лет пять. А тут приблизился пушкинский юбилей, и «Звезда», в которой я прежде публиковал рецензии, заключила со мной договор на нечто о Пушкине.

К приятному моему удивлению, сочинение о Пушкине было встречено многими уважаемыми мною людьми более чем положительно.

Едва успел выйти июньский юбилейный номер «Звезды», как я получил письмо, датированное 23 июня 1974 года, – от Александра Константиновича Гладкова, эрудита, сотрудника Мейерхольда, впоследствии автора интереснейших книг о Мейерхольде и Пастернаке, известного широкой публике как автор пьесы «Давным-давно» (фильм «Гусарская баллада»).

«Дорогой Яша!

С большим интересом прочитал Ваши „Годы борьбы“. Казалось бы, все это давно известно, но Вы выстроили факты с железной логической последовательностью, строго отбирая главное, и хотя почти не говорите о том, о чем пишут наиболее охотно – о последней дуэли, – эта завершающая драма в жизни Пушкина делается совершенно понятной и трагически неизбежной. Конечно же, не светские нравы, не сословные предрассудки, не африканский характер, а именно развитие глубокой внутренней драмы является единственным объяснением событий февраля 1837 года. И я снова думал, читая Ваше сочинение, – какой простор открывается перед биографом, когда он свободно пишет и об ошибках гения, и о ложных шагах, и о неудачах, не стремясь возвеличивать и украшать его в каждом его поступке. Ваша самая сильная сторона (не только в этой работе) – безупречная логика и редкая способность к генерализации темы. Вы ни о чем не умалчиваете, ничего не скрадываете („Стансы“, например), и как от полной правды Пушкин как человек выигрывает. Кроме того, Вы соприкасаетесь здесь

с одним и ныне актуальным спором, который я лично вел этим летом с лауреатом (Солженицын. – Я. Г.): схематично говоря, о том, что должно делать „внутри структуры“ или вне ее».

Мне, разумеется, тоже было приятно узнать мнение человека, отнюдь не склонного к комплиментам.

Разговоров тогда о моей работе – особенно в Москве – было много, но в печатные критические тексты эти разговоры не реализовались. Остались они в частных письмах. Это подтвердилось, когда, случайно купив книгу – посмертную – талантливого «новомирского» прозаика Виталия Семина, рано умершего, составленную другим «новомировцем», Игорем Дедковым, я наткнулся там на его письмо критику Льву Левицкому, где Семин, в частности, писал: «Прочел в „Звезде“ Я. Гордина. Можешь представить себе, как прочел! Прекрасно! Кажется, в первый раз о Пушкине так. Поразительно. И о Дантесе почти ни слова. И правда ведь мелочь. Смертельно опасная, но не сама по себе. Вначале мне казалось, что слишком уж все логично. Одно за другим. Одно из другого. Жизнь глуповатей. Даже если это жизнь супергения. Такую прозу, если меня не подводит моя слабая пединститутская образованность, следует назвать картезианской. Но к концу автор меня убедил и подавил полностью. Господи боже мой, какая убедительная и страшная безнадега! И что там Николай, Бенкендорф, когда вокруг пусто? Что же остается? Господи, помоги мне полюбить моих врагов <...> Да и где враги? Кто они? Бюрократическая аристократия? Деятели нового типа? Завистники? <...> Мы сами, находящие глубину неизреченную в стихах Бенедиктова?»

Виталий Семин, ростовчанин, прославился своей «новомирской» повестью «Семеро в одном доме», вышедшей на излете «оттепели» и подвергшейся злобной критике. Главным его творческим подвигом был роман «Нагрудный знак ОСТ». Пятнадцатилетним подростком Семин был угнан в Германию – концлагерь, работа на военном заводе. Власть ему этого не простила. Он был изгнан из Ростовского педагогического института и отправлен на строительство Куйбышевской ГЭС... Он так и не стал своим в официальной литературной среде. Его друзьями были Виктор Некрасов и Юрий Домбровский... Он жил трудной жизнью и умер в 50 лет...

Потому и трагедия Пушкина оказалась ему так глубоко и мучительно внятна.

Для меня было принципиально важно, что эти два очень разных человека – их роднило только лагерное прошлое: Gladков – сталинский лагерь, Семин – гитлеровский, – в остальном совершенно разные культурные корни, разные литературные и жизненные установки, разная интеллектуальная среда обитания, – уловили в моем сочинении трагическую логику пушкинской судьбы. И это была не просто судьба великого поэта и не просто трагедия великого человека, оказавшегося в бытовом тупике, но судьба уникальной личности, предсказавшей своей трагедией трагедию своей страны.

И Gladков, и Семин – повторяю, такие культурно разные, – увидели Пушкина во всем величии его гигантского замысла, попытка реализации которого его и погубила.

Те, кого я намерен процитировать ниже, далеко превосходят выше цитированных, но дело не в противопоставлении одних другим, а в том, что и те и другие видели недостаточность понимания личности этого колоссального явления – Пушкина.

Эта недостаточность, поразившая Виталия Семина в 1974 году, была декларирована крупнейшим русским религиозным мыслителем Семеном Людвиговичем Франком еще в тридцатые годы. Франк, автор многочисленных сугубо философских трудов, о котором известный историк русской философии протоиерей В. В. Зеньковский писал: «По силе философского зрения Франка можно без колебаний назвать самым выдающимся русским философом вообще», – написал пять этюдов о Пушкине.

В 1937 году в этюде «Пушкин как политический мыслитель» он констатировал, что Пушкин «оставался в течение всего XIX века недооцененным в русском общественном сознании. Он <...> не оказал почти никакого влияния на историю русской мысли, русской духовной куль-

туры. В XIX веке и, в общем, до наших дней русская мысль, русская духовная культура шли по иным, непущинским путям».

В этюде «О задачах познания Пушкина» Франк писал: «Пушкин – не только величайший русский поэт, но и истинно великий мыслитель. (...) Пушкин, не будучи ни в каком отношении типом ученого „специалиста“, не ограничивался и познанием области словесного творчества. Пушкин был одновременно изумительным по силе и пронизательности историческим и политическим мыслителем и даже „социологом“».

Правда, поскольку этюды писались в разное время и «пушкиноведение» было отнюдь не главным занятием Франка, то он подчас противоречил себе.

«Пушкин был, как известно, прирожденным историком, хотя ему и не удалось осуществить в трудах, достойных его дарования, это призвание...»

Стало быть, все же был «специалистом».

Или: «Будучи чистым поэтом, абсолютным образцом поэтической природы (...) он не „философ“ и не поэт своих „настроений“. Он всегда и во всем – наивный мудрец – ведатель жизни». С тезисом о наивности Пушкина согласиться трудно.

Но для нас важно то, что мыслитель масштаба Франка в другом тексте назвал Пушкина «великим мыслителем», «изумительным по силе и пронизательности историческим и политическим мыслителем».

В финале этюда «Пушкин как политический мыслитель» Франк подводит итог своему анализу политического развития Пушкина: «Пушкин, конечно, ошибся в своем историческом прогнозе в одном отношении. Русская монархия не вступила в союз с низшими классами против высших, образованных классов (освобождение крестьян, о котором в течение всей своей жизни страстно мечтал сам Пушкин, конечно, сюда не относится); напротив, гибель монархии, по крайней мере отчасти, была обусловлена тем, что она слишком тесно связала свою судьбу – особенно в 80-х и 90-х годах – с судьбой естественно угасавшего дворянского класса, чем подорвала свою популярность в крестьянских массах. Но в основе своей воззрение Пушкина имеет прямое пророческое значение. Каковы бы ни были личные политические идеи каждого из нас, простая историческая объективность требует признания, что понижение уровня русской культуры шло рука об руку с тем „демократическим наводнением“, которое усматривал Пушкин...»

(Отсюда и жестокое противостояние «аристократа» Пушкина и «демократа», поклонника Ивана Грозного – Николая Полевого, к которому высшие власти до поры относились более благосклонно, чем к Пушкину.)

Я возьму на себя смелость не до конца согласиться с блестящим философом. – Пушкин считал, что монархия, самодержавие, подавляет дворянство, делая ставку не столько на «демократический слой» (хотя это было – вспомним триаду Уварова), но замещает родовое дворянство имперской бюрократией, коренное дворянство – новой бюрократической знатью. Отсюда и «падение дворянства», естественной опоры государства. В результате монархия вообще потеряла опору. И рухнула. Этот аспект ситуации Франк упустил.

Но его признание «пророческого значения» пушкинской мысли – вот что главное для меня.

Теснейшая органичная связь судьбы Пушкина с судьбой России именно как политического мыслителя, политической фигуры была ясна отнюдь не одному Франку, получившему возможность и в эмиграции знакомиться во второй половине тридцатых годов с многочисленными публикациями пушкинских текстов исторического и публицистического характера.

В 1918 году Бердяев в статье «Россия и Великороссия», анализируя «Медного всадника» и решительно осудив бунт Евгения, писал: «В русской революции и в предельном ее выражении большевизме произошло восстание против Петра и Пушкина, истребление их творческого дела (...). Многие наивные и непоследовательные люди думают, что можно отвергнуть Петра

и сохранить Пушкина, что можно совершить разрыв в единой и целостной судьбе народа и его культуры. Но Пушкин неразрывно связан с Петром, и он сознавал эту органическую связь, он был поэтом императорской, великодержавной России».

Если Франк мог познакомиться с отдельными опубликованными после революции фрагментами пушкинского, условно говоря, конспекта «Истории Петра», то Бердяев не знал и этих текстов, не говоря уже о полной публикации 1938 года, потому он не мог оценить сложной эволюции отношения Пушкина к Петру и его реформам. А главное – их отдаленным результатам.

Предлагаемая читателю книга написана в том числе и для того, чтобы показать роль петровского государства в трагедии Пушкина – Пушкина-мыслителя, историка, политика.

В 1718 году, когда пытали тех, кто был замешан в деле царевича Алексея, Петр спросил висевшего на дыбе Александра Кикина, некогда близкого к царю: «Как ты, умный человек, мог пойти против меня?»

«То-то что умный, – ответил Кикин, – а уму с тобой тесно». Эту «тесноту ума», высшую степень личной несвободы, и осознал Пушкин, изучая петровское царствование как глубокий и честный историк.

Георгий Петрович Федотов, трезвый и спокойно мудрый мыслитель, историк, искренне идеализирует отношение Пушкина к Петру, опираясь на пушкинские тексты до «Истории Петра». Но Федотов предложил – в отличие от Бердяева – удивительную в своей парадоксальной точности формулу – «Певец империи и свободы». Если для Бердяева Пушкин певец «императорской, великодержавной России» – безоговорочно, то Федотов вводит радикально меняющее смысл пушкинской позиции понятие свободы.

«Певец империи и свободы» – обширный и тонкий очерк взаимоотношения Пушкина и государства, написанный в 1937 году. Но и Федотов говорит: «Конечно, Пушкин не политик...»

И в то же время: «Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существования. Без свободы немислим Пушкин, и значение ее выходит далеко за пределы политических настроений поэта».

Предлагаемая читателю книга написана для того, чтобы доказать – Пушкин был политиком. Тут мне союзник Франк. Да, «певец империи», но его империя – не петровский военно-бюрократический монстр, где «все равны перед дубинкою» императора.

Его империя – пространство стройного порядка, личной свободы и личного достоинства.

В советское время родилось вопреки всему великое пушкиноведение. Но оно, как правило, не затрагивало всерьез политические, исторические концепции и замыслы Пушкина. Так, в превосходной книге Б. В. Томашевского «Пушкин и Франция» основной массив посвящен чисто литературной проблематике. За исключением статьи «Пушкин и история Французской революции». Но это не столько анализ взгляда Пушкина на суть событий, сколько с обычным для исследователя блеском и фундаментальностью рассказанная история творческого замысла.

Были чрезвычайно значительные книги, затрагивающие эту проблематику. Книги Вадима Вацуры, Натана Эйдельмана. Они, однако, относились к отдельным аспектам проблемы.

Но мне показалось тогда, в начале 1970-х, что «сквозь дым столетий» я разглядел некую систему, некий великий общий замысел, которому попытался следовать Пушкин, замысел, который потребовал от него немислимого духовного напряжения, тяжелых жертв и предопределил его гибель. Мне показалось, что я понял суть трагедии гения, трагедии, к которой бытовые обстоятельства имели лишь косвенное отношение. И потому я был радостно поражен, когда два столь разных читателя, и, что важно, не пушкиниста, как Гладков и Семин, подтвердили мою догадку.

Я попытался написать, проследив месяц за месяцем, год за годом – с 1831 по 1836 год, – логику действий Пушкина. И оказалось, что это – история великой надежды и горького разочарования, трезвой любви к России и мрачного пророчества о ее судьбе.

В книге только один раз упоминается Дантес и считанные разы Наталья Николаевна. На это не случайно и обратили внимание проницательные Александр Гладков и Виталий Семин.

Ибо судьба Пушкина – едва ли не самая трагическая судьба в истории нашей культуры, – рифмуясь с судьбой империи, решалась отнюдь не на бытовом уровне.

По общему своему характеру политическое мировоззрение Пушкина есть консерватизм, сочетающийся, однако, с напряженным требованием свободного культурного развития, обеспеченного правопорядка и независимости личности, – т. е. в этом смысле проникнутый либерализмом.

С. Франк. Пушкин как политический мыслитель

Что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство? Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много.

Пушкин. Из разговора с великим князем Михаилом Павловичем

1831

Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы.

Пушкин – Вяземскому. 1831

Смутное сознание подсказывает мне, что скоро придет человек, который принесет нам истину нашего времени.

Чаадаев – Пушкину. 1831

1

В полдень 25 мая 1831 года Александр Сергеевич Пушкин с супругой въезжал в Царское Село. Петербуржец того времени писал о поездке в императорскую резиденцию:

«По каким прекрасным чугунным мостикам мы теперь едем; дорога как скатерть. Перед нами въезд в Царское Село. Вот множество низеньких домиков в китайском вкусе, один другого милее, и сколько тут мандаринов, змей, драконов из жести... Это Китайская деревня. Направо лежит сад, обширный, величественный, отделенный от дороги широким каналом. Глазам нашим представляется императорский дворец во всем его величии и красоте; это истинно царские чертоги: едешь и ощущаешь какое-то особенное, возвышающее чувство...»

Сидя в коляске рядом с Натальей Николаевной, Пушкин тоже видел все это перед собой. Он тоже испытывал какое-то особенное, возвышающее чувство. Но не от близости императорского дворца.

Он уехал отсюда четырнадцать лет назад. Уехал вольнодумцем, мальчишкой, мечтающим надеть гусарский доломан, готовым каждый день выходить на дуэли, готовым к жестокой войне литературной, готовым безрассудно проповедовать вольность.

Это было время ожиданий и надежд.

И теперь – через четырнадцать лет – он возвращался обратно. Он снова был полон надежд и ожиданий. Но надежды были иные, и ожидания – иные. А главное – иное было время.

2

Время было апокалипсическое.

Чаадаев писал ему: «Посмотрите, друг мой: разве воистину не гибнет мир?»

26 июля 1830 года король Франции Карл X, возмущенный оппозицией Палаты депутатов и большей части прессы, издал шесть антиконституционных ордонансов: «Свобода периодической печати отменяется», «Палата депутатов от департаментов распущена...»

Оппозиционная пресса отреагировала мгновенно и безошибочно. 27 июля в двух газетах появился протест против ордонансов. Третья, наиболее влиятельная газета оппозиции «Глоб» перепечатала текст ордонансов. Редакционная статья, сопровождающая их, начиналась словами: «Преступление исчерпано».

Это был последний выпуск газет при старом порядке. Типографии прекратили работу. Многочисленные рабочие-полиграфисты вышли на улицы. Парижские предприниматели закрыли свои предприятия, обеспечив восстание живой силой.

В тот же день – 27 июля – в Париже начались уличные бои. Среди рабочих было много наполеоновских ветеранов. Драться они умели. Карбонарии занялись организацией боевых отрядов. Общее руководство восстанием взяли на себя студенты Политехнической школы.

Регулярные войска перешли в большинстве своем на сторону народа. На третий день единственная опора короля – швейцарская гвардия – была вытеснена из Парижа. Своим главнокомандующим восставшие провозгласили знаменитого генерала Лафайета, героя американской Войны за независимость и Великой революции 1789 года.

Король объявил ордонансы недействительными. Однако было ясно, что к власти ему не вернуться.

После нескольких дней политической борьбы победили сторонники герцога Орлеанского. На французский трон была возведена Орлеанская династия. Новый король поклялся в верности конституционной Хартии (вскоре он начнет нарушать свои клятвы). 12 августа официальная газета писала:

«Сегодня утром король вышел пешком с зонтиком в руке. Он был узан и окружен толпой; теснимый рукопожатиями и приветствиями, он принужден был вернуться при единодушных криках: „Да здравствует король Филипп“».

25 августа началась революция в Бельгии.

С первых дней французской революции Пушкин напряженно следил за событиями.

Действия короля Карла X, нарушившего законы страны, он осудил решительно. Он считал, что Полиньяка, министра, толкнувшего короля на такой шаг, надо казнить. Конституция не должна нарушаться. Но результаты революции, новый король и поведение публики не вызвали у него восторга.

«Их король с зонтиком под мышкой слишком буржуазен», – писал он. Фраза эта, как мы убедимся, имела для него смысл более глубокий, чем может показаться.

Главным же для него было, что Европа пришла в движение, как в 1789 году. Началось то, что он назвал «судорогами, охватившими Европу». Почва заколебалась.

3

Пушкины поселились в домике царского камердинера Китаева. Сам Китаев умер, и вдова домик сдавала.

Домик был небольшой, но комнат хватало – десять. Да еще – открытая веранда и балкон.

Ближайшие планы Пушкина были очень ясны. Он писал Нащокину:

«Вот уже неделя, как я в Царском Селе, а письмо твое получил только третьего дня. Оно было застраховано, и я возился с полицией и почтой... День ото дня ожидаю своего обоза и письма твоего. Я бы переслал Горчакову тотчас мой долг с благодарностью, но принужден был в эти две недели истратить 2000 рублей и потому приостановился. Теперь, кажется, все уладил и стану жить потихоньку без тещи, без экипажа, следовательно без больших расходов и без сплетен».

Ему нужна была остановка в жизни, пауза, потому что жизнь начиналась совсем иная и необходимо было неподвижно прислушаться к себе и к миру и принять решения.

Обоз с вещами из Москвы пришел. Впервые Пушкин зажил своим домом. Выглядело это вполне идиллично.

Встав утром, он принимал холодную ванну, пил чай и поднимался в кабинет, в мезонин. Там ему была уже приготовлена банка варенья из крыжовника и стакан ледяной воды. Он работал.

Наталья Николаевна вышивала в гостиной.

Потом они шли гулять.

«Многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женой, обыкновенно около озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе, и на плечах свитая тогдашнему красная шаль».

Вскоре после приезда пришел он в Лицей. Тогдашний лицеист Я. Г. Грот рассказывал:

«Никогда не забуду восторга, с каким мы его приняли. Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших „дедов“, мы его окружали всем курсом и гурьбой провожали по всему Лицею. Обращение его с нами было совершенно простое, как со старыми знакомыми; на каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнату и передавал подробности о памятных местах».

Часто он ходил вокруг Лицея один. Ему было горько здесь. Но он не щадил себя.

Полгода назад внезапно умер Дельвиг. Это было накануне свадьбы Пушкина. Сомов, сотрудник Дельвига по «Литературной газете», писал Баратынскому в Москву:

«Приготовьте Пушкина, который, верно, теперь и не чаёт, что радость его возмутится такой горестью».

Это была одна из тех вестей, которые сразу и объявить человеку страшно. Все близкие к Пушкину люди знали, как любил он Дельвига. И не только по давней дружбе. Дельвиг был человеком редчайшим. Он был умен спокойным, ясным умом, бесконечно добр и безукоризненно благороден. А для Пушкина, зрелого Пушкина, куда как важны были эти качества.

«Что скажу тебе, мой милый? – писал он Плетневу, узнав об этой смерти. – Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось... Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на виду – около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все. Вчера провел я день с Нащокиным, который сильно поражен его смертью, – говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здрав – и постараемся быть живы».

Его не так-то легко было с ног свалить. Не свалила же его судьба Пуцина и Кюхельбекера, о которых думал он, глядя на лицейские стены. Их страдания, их крестный путь, наконец, просто отсутствие их играли для него особую роль – до конца жизни.

Но он знал, что надо жить и делать свое дело. Его нелегко было с ног свалить. Он умел справляться с несчастьями. Встречавшие его в то время видели бодрость и спокойствие.

«27 июля, в 7-м часу вечера, я шел к знакомому, жившему во дворце. Я шел парком. Не сделал я двадцати шагов, как вышел из-за деревьев на ту же дорогу человек среднего роста, с толстой палкой в руке. Он шел мне навстречу скоро, большими шагами. Хотя он был еще далеко от меня, но по походке и бакенбардам нетрудно было узнать в нем Александра Сергеевича. Я решился подойти к нему. За несколько шагов, сняв фуражку, я сказал ему взволнованным голосом: „Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по Лицею и желаю вам представиться“. – „Очень рад, – отвечал он, улыбнувшись и взяв меня за руку, – очень рад“. Непритворное радушие было видно в его улыбке и глазах... При всей своей славе Александр Сергеевич был удивительно прост в обхождении. Гордости, важности, резкого тона не было в нем и тени, оттого и нельзя было не полюбить его искренно с первой же минуты... Многие расставленные по саду часовые ему вытягивались, и если он замечал их, то кивал им головою. Когда я спросил: „Отчего они ему вытягиваются?“, то он отвечал: „Право, не знаю; разве потому, что я с палкой“».

Итак, жили тихо. Ели однообразно, но вкусно. На обед обычно подавали «зеленый суп с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелем и на десерт варенье из белого крыжовника».

Пушкин повторял слова Шатобриана: «Если бы я мог еще верить в счастье, я бы искал его в монотонности житейских привычек». Монотонность житейских привычек, добропорядочность и прочность семейного дома пытался он противопоставить потоку жестокой стихии, окружавшей Россию, Петербург, Царское Село, подступавшей к его душе и уму.

4

17 ноября 1830 года в польской армии, которую император Николай намеревался отправить во Францию для усмирения революции, началось восстание.

Для Пушкина это было делом еще более серьезным, чем французская революция. Трещины, побежавшие по миру, гибель которого предвидел Чаадаев, пересекли границы Российской империи. Все свое сложное и мучительное отношение к происходящему он изложил на полстранице в письме к Вяземскому. Под вопросом оказалось само существование самодержавной империи. А существование единой и мощной империи было теперь связано в сознании Пушкина с тем великим будущим России, о котором он непрестанно думал в это время и которому собирался способствовать...

С петровских времен существовала идея объединения славян вокруг России. Идея эта стала особенно популярна в начале XIX века. Ее сторонником был Державин.

Первый директор Лицея Василий Федорович Малиновский, человек, которого Пушкин уважал, крупный политический мыслитель, разработал план создания единой славянской державы. Она должна была объединить Россию, воссоединенную Польшу и балканских славян, освобожденных от власти Турции и Австрии.

В первую половину царствования Александра I проекты такого рода занимали серьезное место во внешнеполитических планах русского правительства и вызывали безусловную поддержку общества. «Славянская держава» могла – по убеждению русских патриотов – укротить любого завоевателя. В тот момент речь шла, естественно, о Наполеоне.

Идея эта неизбежно носила в себе революционное зерно – ведь для освобождения угнетенных славян требовалось их восстание. И для передовых русских политиков это движение, естественно, связано было с греческим восстанием, столь волновавшим Пушкина и декабристов.

В двадцатые годы, во время пребывания Пушкина на юге, зародилось революционное Общество соединенных славян. Его конечной целью было сплочение славянских народов вокруг свободной России...

И теперь – в 1831 году – Пушкин решил для себя, что победа восставшей Польши, отпадение ее, окажется чреватым слишком тяжелыми последствиями для России и славянства.

Это была традиция декабристского патриотизма.

Спокойной жизни, спокойной работы, спокойных раздумий не получалось. Царскосельские парки, жестяные мандарины и драконы, свой удобный, устроенный дом – все это было идиллическим фоном для мучительных размышлений.

Катастрофические толчки почвы нарастали, пока не поставили империю на край гибели. Так думали современники. Так думал царь.

5

19 июня 1831 года молодой литератор Никитенко занес в свой дневник:

«Наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности. Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности».

20 июня:

«В городе недовольны распоряжениями правительства... Лазареты устроены так, что они составляют переходное место из дома в могилу... Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда

просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто одушевил бы народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и, по обыкновению, верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и т. п. Кричат против немцев лекарей и поляков, грозят их перебить».

Царское Село оказалось отрезанным от мира карантинами.

Трудно было сохранять душевное спокойствие. Осень прошлого года, болдинское сидение, собственный «пир во время чумы» стали приходить на память. Письма Пушкина той поры полны беспокойства.

Между тем в Петербурге произошел бунт. Было убито несколько ни в чем не повинных лекарей. Император личным появлением слабый этот бунт усмирил. Да это был и не столько бунт, сколько вспышка отчаяния подавленных наступлением непонятного зла людей.

Волнения были и вокруг Петербурга.

Пушкин чувствовал, что можно ожидать худого. Он понимал неустойчивость положения. Недаром писал он за полгода до того:

«Россия нуждается в покое. Я только что проехал по ней... Народ изнурен и раздражен».

Он не ошибался.

Холерные дела, достаточно неприятные сами по себе, стали поводом к мятежу, какого Россия не видела со времен Пугачева.

Кто не знает, что в 1831 году было восстание в военных поселениях. Но мало кто представляет себе истинный масштаб этого восстания, и ужас, в который оно привело власть, и воздействие, которое оно оказало на умы людей думающих.

Военные поселения, в том виде, в каком существовали они при Пушкине, были задуманы и организованы Александром I и Аракчеевым с одной достаточно простой мыслью. Мысль эта выглядела так. Россия должна блюсти порядок в Европе. Для этого нужна большая армия. Большая армия стоит дорого. Следовательно, нужно, чтобы часть армии одновременно занималась и крестьянским трудом.

Выполнение этого плана шло с двух сторон. С одной стороны, некоторые армейские части были поселены в деревнях и как бы посажены на землю. С другой стороны, большое количество государственных крестьян было как бы превращено в солдат, занимающихся и хлебопашеством. Через несколько поколений, по мысли организаторов, военные поселения должны были дать России значительную резервную армию, обученную и ничего государству не стоящую.

А что получилось в действительности?

«Все, что составляет наружность, пленяет глаз до восхищения; все, что составляет внутренность, говорит о беспорядке. Чистота и опрятность есть первая добродетель в этом поселении. Но представьте дом, в котором мерзнут люди и пища; представьте сжатое помещение – смешение полов без разделения; представьте, что корова содержится как ружье, а корм в поле получается за 12 верст; что капитальные леса сожжены, а на строение покупаются новые из Порхова, с тягчайшей доставкой; что для сохранения одного деревца употреблена сажень дров для обстановки его клеткою, и тогда получите вы понятие о государственной экономии. Но при этом не забудьте, что поселянин имеет землю по названию; а общий образ его жизни – ученье и ружье. Притом от худого расчета или оттого, что корова в два оборота делает в день 48 верст для пастбища, всякий год падало от 1000 до 2000 коров в полку, чем лишали себя поэма и хлебородия, и казна всякий год покупала новых коров... В больнице полы доведены

до паркетов, и больные не смели прикоснуться к ним, чтобы не замарать; у каждого поселенного полка была мебель, но она хранилась как драгоценность, на ней никто не смел сидеть».

Это написал не какой-нибудь маркиз де Кюстин, французский критикан. Это написал генерал-майор русской службы Маевский, начальник старорусских военных поселений.

Жизнь в военных поселениях была настолько страшна и бессмысленна, что прежнее крестьянское бытие, тоже отнюдь не райское, вспоминалось как предел благоденствия.

«Всех жителей одели в солдатские мундиры, расписали по ростам; во всяком селении взяли гумно, начали их в нем приучать ворочаться налево и направо, ходить в ногу, топтать каблуками, выпрямляться, носить тесак; даже до такой степени заботились, что в тех гумнах не поленились выстроить печки, дабы поселяне и в зимние дни навещали манеж, маршировали в нем и слушали команду горластого капрала, для их столь особенного счастья».

Это свидетельство тоже не какого-нибудь постороннего злопыхателя, а управляющего Высоцкой волостью поселений капитана Мартоса.

Всем здравомыслящим людям было ясно, что идея поселений провалилась по всем статьям. Однако поселения существовали, и конца им не было видно.

Если «корову содержать как ружье», она, бедная, сдохнет безропотно, и все тут. Но если в том качестве содержать человека, то он рано или поздно может и взбунтоваться.

В 1830–1831 годах военные поселения были готовы к взрыву. И только николаевское правительство, с его удивительной смесью самоуверенности и трусости, подозрительности и слепоты, этого не понимало.

Нужен был повод. Его дала холера.

Слухи о том, что под видом холеры начальство травит народ, ходили, разумеется, не только в Петербурге и Москве. На раздраженных, озлобленных военных поселенцев они действовали особенно сильно.

Уже после подавления восстания в рапорте следственной комиссии было сказано:

«Единственным поводом к возникшим в городе Старой Руссе и в округах военного поселения гренадерского корпуса беспорядкам послужили распространившиеся нелепые слухи, что относимая к появлению болезни холера смертность происходит от отравы и что начальники состоят в заговоре истребить посредством оной нижний класс народа, выдумав существование холеры для прикрытия своих замыслов (...) Еще 8 июля один господский мальчик, который, идя по улице, завязывал в узелок платка соль, своевольно схвачен был чернью по подозрению, что рассыпает яд. Хотя на сей раз освидетельствованием оной соли выведены были жители из заблуждения, однако же 10 июля снова оказалось подобное самоуправство; Киевского гренадерского полка подпоручик Ашенбреннер, прохаживавшийся за городом, был остановлен мещанами тоже по подозрению, что он шпион и для того ходит близ реки, чтобы отравить ее ядом. Наконец, 11 июля, по пробитии вечерней зори, нижние чины военно-рабочего № 10 батальона схватили около своих бивуаков, находящихся близ Старой Руссы, проходившего по большой Крестецкой дороге для прогулки Киевского же гренадерского полка капитана Шаховского, подозревая его в рассыпке яда, избили и связали его, после чего, вышед из повинования к начальству, вооружились кольями и бросились с неистовым криком в город... Поднялся весь город, все улицы стали наполняться чернью, которая, питая в разгоряченном своем воображении мысль об отраве и узнав о приближении людей 10-го рабочего батальона, бросилась для соединения с ними; после того, видя безначалие, мятежники в совокупности предались неистовствам всякого рода, начав оные убийством вышедшего для убеждения их генерал-майора Мевеса, городского лекаря Вейгнера, и отысканию в саду полицмейстера Манджоса. Далее, разбив дома чиновников, подозреваемых в заговоре, и городскую аптеку, нанесли жестокие побои некоторым полицейским чиновникам...»

Затем события стали развиваться столь стремительно, что вести, посылаемые местным, уцелевшим еще начальством в Петербург, неизменно запаздывали. Хотя Петербург был совсем недалеко.

Ситуация менялась ежедневно, и только в худшую сторону. Один за другим восставали поселенные полки. Регулярные части, расположенные в округах, переходили на сторону мятежников.

16 июля началось восстание в Новгородских поселениях. 17 июля солдаты 5-го и 6-го военно-рабочих батальонов вместе с крестьянами «сделали нападение на лагерь поселенного гренадерского корпуса, причем умерщвлены в истязаниях полковник Нейман и майор Маковский». Короче говоря, гренадеры поддержали восставших. 21 июля командовавший 2-й гренадерской дивизией генерал-майор Леонтьев, прибывший в Старую Руссу для подавления мятежа с двумя батальонами пехоты и артиллерией, был убит. Его солдаты перешли на сторону мятежников.

Десятки тысяч восставших, среди которых было много обученных и вооруженных солдат, стояли не где-нибудь в оренбургской степи или на Волге, а в нескольких переходах от Петербурга. Русская армия и большая часть гвардии находились на западном театре военных действий.

Оставить без всякой защиты Петербург тоже было невозможно, ибо вокруг него все время вспыхивали холерные бунты, грозившие перейти в мятеж.

Сил для карательных операций у правительства не было.

Положение получалось отчаянное.

Члены следственной комиссии искренне заблуждались, считая, что все дело в нелепых слухах об отраве. 19 июля – в самый разгар мятежа – у подполковника Панаева произошел такой разговор со стариком, которого уважали поселяне.

– Послушай, старик, – сказал Панаев, – ты человек умный и можешь рассудить, как можно отравить всех. Поди ты и растолкуй им, они тебе более поверят.

– Что тут говорить, – отвечал старик. – Для дураков яд да холера; а нам надобно, чтоб вашего дворянского козьего племени не было.

Император Николай в такие моменты проявлял тонкое понимание ситуации. Он писал 18 июля:

«Бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные. Не дай и сохрани нас от того милосердный Бог, но я крайне беспокоюсь».

Происходило самое страшное – войска братались с мятежниками. Со дня на день полки 1-й и 2-й гренадерских дивизий, поддержанные чернью, могли выступить на Петербург.

6

Двор переехал в Царское Село в начале июля. А с двором – дороговизна и сплетни, слухи и достоверные известия. Последнее было важно.

Приехали с двором Жуковский, воспитатель наследника, и «черноокая Россетти», фрейлина. От них и шли достоверные известия.

Однако первое время после начала мятежа в поселениях не ясно еще было, что там происходит. Николай, очевидно, делился сведениями с очень ограниченным кругом.

Около 16 июля Пушкин писал Плетневу:

«У нас в Царском Селе все суетится, ликует, ждут разрешения царицы; ждут добрых вестей от Паскевича; ждут прекращения холеры».

Но 21 июля тон меняется:

«В Царском Селе также все тихо; но около такая каша, что боже упаси».

Это – Нащокину, с которым в политические разговоры Пушкин обычно не очень входил.

Но 3 августа он написал Вяземскому:

«...ты верно слышал о возмущениях Новгородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасиловали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других – из инженеров и коммуникационных (...) Но бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улицах. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. – Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы».

Ему было тяжело.

Он прекрасно понимал причины мятежа и причины его жестокости.

Но жестокость, бессмысленная жестокость, приводила его в отчаяние. И еще одно – бесплодность мятежа.

В начале августа он уже знал, что мятеж кончается. В тревоге пережил он страшные июльские дни, когда неясно было – пойдут бунтовщики на Петербург или нет. Они не пошли. Они попусту теряли время. И потеряли все. Правительству удалось хитростью вывести из округов регулярные части. Удалось собрать военную силу. Поселенцы, оставшись одни, без сочувствующих гренадер, упали духом. Их хватали, заковывали.

Пушкина угнетала бессмысленность происходящего. За жестокостью мятежа следовало изверское возмездие.

«Когда привели на плац первую партию, то их невозможно было узнать; до того они были исхудалы, печальны и обросли, что не походили на людей... Для большей безопасности кругом плац-парада гарцевали два эскадрона драгун. Вскоре приехал генерал Данилов, назначенный для наблюдения за порядком во время экзекуции. Поздоровавшись с полубатальионом Астраханского полка, он начал говорить солдатам, что когда придет время наказывать бунтовщиков-поселян, то не щадить их, – ибо кто окажет им малейшую снисходительность, того он сочтет за пособника и ослушника воли начальства, а следовательно, за такого же бунтовщика, как и поселяне... „Стегать их, шельмецов, без милосердия, по чему ни попало“, – прибавил он. Затем, обратившись к поселенному батальону, собранному для присутствия на экзекуции, сказал: „Ну что, разбойники? Что наделали? Вот теперь любуйтесь, как будут потчевать вашу братию...“ Страшная была картина: стон и плач несчастных, топот конницы, лязг кандалов и барабанный, душу раздирающий бой – все это перемешалось и носилось в воздухе. Наказание было настолько невыносимым, что вряд ли из 60 человек осталось 10 в живых. Многих лишившихся чувств волокли и все-таки нещадно били. Были случаи, что у двоих или троих выпали внутренности... У некоторых несчастных, как, например, у поселянина Егора Степанова, выхлестнули глаз и так водили, а глаз болтался; Морозова, который писал прошение от имени поселян, били нещадно. Несмотря на его коренастую фигуру, высокий рост, он не вытерпел наказания, потому что его наказывали так: бьют до тех пор, пока не обломают палок, потом поведут опять, и снова остановят, пока не обломают палок. Ему пробили бок, и он тут же в строю скончался...»

Это страшно читать. Но надо знать это. Ибо Пушкин тоже это знал. Он знал, где и в какое время живет.

Империя была на краю гибели. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли...» – писал он некогда. Теперь эта формула приобретала новый смысл.

За два года до этого Пушкин писал о Грибоедове:

«Нет ничего завиднее последних годов бурной его жизни».

Последние годы жизни Грибоедов был крупным дипломатом, влияющим на судьбы государств. Пушкин завидовал Грибоедову – государственному деятелю.

7

Уже много лет он думал о своем издании – журнале, альманахе. Он все время – из всех своих ссылок – писал об этом друзьям.

«Литературная газета», которую в тридцатом году издавали Дельвиг и Сомов, была все же не совсем своя. Разумеется, он мог напечатать там что хотел. Но он все время был в отъездах – сватовство, Болдино, женитьба. Да и газета была всего лишь «литературная». Ему и тогда этого казалось мало, а теперь и подавно.

Еще из Москвы – в марте – он писал Плетневу:

«Я не прочь издавать с тобою последние „Северные цветы“. Но затеваю и другое, о котором также переговорим».

Через две недели – опять же Плетневу:

«Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести: альманаха, журнала, чего доброго и газеты!»

Вот оно – таинственное «другое» из первого письма. Мысль о газете. Об издании мобильном, многотиражном. Но не только в тираже и мобильности дело. Он хотел газету политическую.

8 июня Пушкин получил письмо от управляющего III Отделением (то есть начальника тайной полиции) Фон-Фока.

«Милостивый государь! Будучи бесконечно польщен доверием, которым Вы изволили меня почтить, я прошу Вас принять выражение моей столь же искренней, как и чувствительной благодарности. Позвольте, однако, милостивый государь, возвращая Вам черновик прошения, который Вы имели любезность мне сообщить, – заверить Вас с присущей мне откровенностью, что я далек от того, чтобы покровительствовать одному какому-нибудь литератору, кто бы он ни был, за счет его собратьев. К сожалению, встречаются люди, до чрезвычайности склонные к тому, чтобы изображать в дурном свете самые невинные обстоятельства. Вот почему мне приписали влияние, которым я никогда не пользовался и которое было бы совершенно противоположно моим принципам. Я знаю издателей „Северной Пчелы“ лучше других по прежним, чисто светским отношениям; это единственные литераторы, которые иногда навещают меня и с которыми я иногда обмениваюсь литературными мнениями, не всегда, впрочем, становясь на их сторону. Таким образом, пристрастие к этим господам мне приписывают совершенно безосновательно и даже не без зложелательства. Что касается политических статей, которые я им изредка посылаю для напечатания в их газете, то я делаю это по обязанностям службы, по поручению генерала Бенкендорфа, который обычно скрепляет их своей подписью. По этой самой причине осмеливаюсь думать, что Вы, быть может, хорошо бы сделали, обратившись с Вашим проектом к генералу Бенкендорфу, который неоднократно давал явные доказательства особой к Вам благосклонности».

По содержанию этого иезуитского послания можно понять, о чем писал Пушкин к столь беспристрастному и откровенному полицейскому деятелю. Очевидно, он посылал Фон-Фоку ходатайство о разрешении издавать «политический журнал». Черновик этого документа написан был еще в 1830 году. Но теперь Пушкин решил, что пришла пора действовать.

Он послал письмо именно Фон-Фоку, а не Бенкендорфу, потому что Фон-Фока считал человеком благородным, а Бенкендорф – это было известно – покровительствовал Булгарину и его «Северной пчеле». Очевидно, в сопроводительном письме Пушкин намекнул на покровительство властей издателям «Пчелы». И хитрый Фон-Фок поспешил этот очевидный факт опровергнуть. И направить Пушкина к Бенкендорфу.

Все пути вели в штаб корпуса жандармов, к бледному голубоглазому генералу, который ненавидел литературу вообще, а Пушкина в особенности. И не просто ненавидел, но и прези-

рал как человека неосновательного, неблагодарного, которому вскружила голову искусственно раздутая слава.

Около 20 июля, когда в Царское Село стали доходить известия о серьезности событий в поселениях, Пушкин послал Бенкендорфу письмо:

«Если государю императору угодно будет употребить перо мое, то буду стараться с точностью и усердием исполнять волю его величества и готов служить ему по мере моих способностей. В России периодические издания не суть представители различных политических партий (которых у нас не существует), и правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее общее мнение имеет нужду быть управляемо. С радостию взялся бы я за редакцию *политического и литературного журнала*, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению».

В прошении, посланном Фон-Фоку, он мотивировал свое желание издавать именно политическую газету (под словом «журнал» тут надо понимать именно частое периодическое издание, он и «Северную пчелу» иногда называл журналом) очень правдоподобно: коммерчески. Газета с политическими известиями может собрать большой тираж и, стало быть, принести много денег. Газета с большим тиражом может успешно рекламировать книги издателя и его друзей и противостоять в этом смысле «Северной пчеле».

Все достаточно мелко, а потому должно было убеждать.

Но те, от кого зависела судьба будущего издания, поняли, что дело не только и не столько в меркантильных соображениях. Они догадывались, для чего нужна Пушкину газета с ее тысячными тиражами.

Слухи о пушкинском предприятии пошли широко.

И вскоре он получил любопытнейшее письмо от своего старого арзамасского знакомца Филиппа Филипповича Вигеля, человека умного, проницательного, злого, циничного, вполне реакционера.

«Проект политико-литературного журнала восхитителен; я им очень занят; я искал и, кажется, нашел обеспеченный и в то же время порядочный способ его исполнения. Вы знакомы с Уваровым, бывшим членом Арзамаса. Хотя он и не в особенно хороших отношениях с моим начальством, но благорасположен ко мне и в хороших отношениях с генералом Бенкендорфом. Ваш проект сообщен ему, – он им доволен, он его одобряет, он им увлекается, и, если Вы хотите, он поговорит с Бенкендорфом.

Повторяю, Вы знаете Уварова, знаете, что это придворный, раздраженный своими неудачами, но не настолько злопамятный, чтобы отказаться от хорошего места, которое бы ему предложили. Это человек умный, пресыщенный умственными наслаждениями, но всегда готовый снова начать литературную и ученую карьеру; в конце концов, это добрый мальчик, но мальчик тщеславный, досадующий в нетерпении на то, что не достиг ни на одном из двух им выбранных путей того уважения и той власти, на которую он рассчитывал. Теперь он выбрал третий путь – разбогатеть и встретил на нем еще больше препятствий. По-моему, он сильно изменился и сделался гораздо любезнее, чем был раньше; все зло происходит от того, что он сначала вступил на путь славы, потом на путь почестей, приняв их один за другой, и окончательно смешал их. Это ошибка, но его старые друзья были слишком взыскательны. Я бы сказал, даже несправедливы к нему, они предполагали в нем, не знаю почему, твердость стоика, душу римлянина; когда они увидели, что обманулись, они отреклись от него, как от перебежчика или клятвопреступника. Несмотря на все мое уважение, на всю мою уступчивость к ним, я не нахожу его таким виноватым; моя вежливость, мое благорасположение оплачиваются тою же монетою. За мысль Вашего проекта он ухватился с жаром, с юношеским увлечением. Он обещает, он клянется помогать его исполнению. С того момента, как он узнал, что у вас добрые принципы, он готов

обожать Ваш талант, которому до сих пор только удивлялся. По своему нетерпению, он хотел бы Вас видеть почетным членом своей Академии наук. Первое свободное место в Российской Академии Шишкова должно быть Вам назначено, Вам оставлено. Как поэту, Вам не нужно служить, но почему бы Вам не сделаться придворным? Если лавровый венок украшает чело сына Аполлона, почему камергерскому ключу не украсить зад потомка древнего благородного рода? Конечно, все это только предначертания счастья и славы для того, кто не довольствуется только прославлением своей родины, но хочет служить ей своим пером. От Вас только зависит иметь горячих и ревностных сторонников».

Богатое это письмо, если внимательно его читать. А Пушкин читал его весьма внимательно. Он хорошо знал Вигеля и знал, что тот не станет зря выводить такое количество многозначительных фраз.

В начале письма помещена была приманка, наживка. Обещание выхлопотать политическую газету. Стало быть, и Вигель, и те, кто стоял за ним, знали, как нужна она Пушкину. Затем начиналась откровенная торговля. Проницательный и ехидный Вигель не случайно так подробно расписывал прискорбный путь Уварова. Все здесь имело двойной смысл. Ведь и Пушкин шел по пути славы, прежде чем его стали обвинять в тщеславии и стремлении заслужить благоволение двора. И слова о том, что-де «старые друзья были слишком взыскательны», конечно, с одной стороны, относились к Уварову, но с другой – разве старые друзья не порицали еще недавно Пушкина за «Стансы» Николаю? Разве не смотрели на него как на перебежчика? Разве не вынужден был он, Пушкин, оправдываться, писать новые «Стансы»?

Письмо построено безукоризненно: приманка, разъяснение, что терять ему, собственно, нечего – он все равно «перебежчик», далее – посулы: место в Академии, камергерский ключ. Что до ключа, то еще в тридцатом году ходили слухи о пожаловании его Пушкину. И наконец, предупреждение, почти угроза, – разумеется, все эти блага для того, кто не просто стихи сочиняет, но... служит своим пером. «От Вас только зависит иметь горячих и ревностных...»

И важен тон письма – этот восторг ренегатов, получивших надежду на совращение еще одного порядочного человека. И не кого-нибудь – Пушкина. Это восторг от предвкушения удачного союза. Именно здесь зерно будущей смертельной вражды Пушкина и Уварова. Обманутые ожидания рождают особенно постоянную и едкую ненависть.

На союз с Уваровым Пушкин пойти не мог. Ни сейчас, ни позже. Тому были свои важные причины.

Пушкин понимал, что, если он хочет получить газету, он должен убедить правительство в своей лояльности. Он и в самом деле был в тот момент лоялен. Он только считал себя куда умнее правительства. Но это нужно было скрывать до поры до времени. И обещать «с точностью и усердием исполнять волю его величества». Нужно было перехитрить Николая в конечном счете для блага России и самого же Николая.

Без газеты политической было не обойтись. Только она могла быть кафедрой для проповеди. Для поучения и правительства, и общества. Нужно было получить эту газету. Но не любой ценой. Не союзом с Уваровым.

Он ждал ответа от Бенкендорфа.

8

Чем занимался он в это время? Он занимался историей.

История интересовала его давно. Со времен его молодости. Но тогда и позже – в Михайловском – интерес этот не имел значения самостоятельного. Изучив историю Смутного времени, он написал «Годунова». Когда он писал «Годунова», ему было равно важно показать отношения народа и власти и утвердить новый тип драмы. Утвердить в российской словесности опыт Шекспира. Когда он писал «Полтаву», ему равно важно было изобразить роковую

баталию под Полтавой и роковую любовь Марии к Мазепе, убийце ее отца. Движение литературы и движения страстей человека частного занимали его ум.

Теперь было не то. «Собачья комедия литературы» и суета страстей человеческих отступили перед великой драмой мировой истории, которая вошла в его ум и душу.

30 мая 1831 года, сидя в своем кабинете в домике вдовы Китаевой, куда в незашторенные, как всегда, окна било солнце, отхлебнув ледяной воды из стакана и проглотив ложечку крыжовенного варенья, он написал на плотном листе хорошей бумаги, которую он любил:

«Прежде, нежели приступим к описанию преоборота, ниспровергшего во Франции все до него существовавшие постановления, должно сказать, каковы были сии постановления».

Он начал писать историю Великой французской революции. Он начал писать ее, когда во Франции вновь стало беспокойно. Приближались парламентские выборы. В газетах шла резкая полемика. Должна была определиться судьба Франции.

Он начал писать ее, когда устои империи колебались.

Он начал писать ее, когда холера ходила по России, убивая и ожесточая людей.

Он начал писать ее как ученый. Он ненавидел дилетантизм. Он говорил:

«В наше время главный недостаток, отзывающийся почти во всех ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указать на плоды долгих изучений и терпеливых изысканий».

Он задумал труд огромного масштаба. О масштабе этом дает представление план:

«1.

Феодальное правление. Его основание.

Большие лены избирали предводителя. Малые лены. Все владение имело общую долю в добыче. Вассалы. Народ. Духовенство.

Сношения короля с владельцами, владельцев между собою, владельцев с вассалами, вассалов между собою.

Права владельцев.

Изб. королей, судили, распри, выбивали монету, вели войну между собою, обязанность нести службу по определенным дням.

Национальное собрание. Война и обязательства в отношении короля. Обязательства в отношении вассалов. Правосудие, обычай, законы, привилегии. Независимость, покровительство.

Упадок феодализма.

Крестовые походы, Людовик Святой. Папы. Филипп Красивый. Генеральные Штаты. Парламенты.

2.

Феодальное правление, основанное на праве завоевания. Что были предводители. Что был народ. Короли. Телохранители. Продажа должностей. Ришелье. Споры аристократии с парламентами. Уничтожение феодализма. Людовик XIV».

Это план пролога к истории Великой революции. Пролог должен был охватить все Средневековье с его сложнейшими проблемами.

Он начал этот труд с ясным сознанием задачи. Научная подробная история революции была необходима, чтобы понять современность и объяснить ее русским современникам. Понять судьбы нынешней России можно было только среди судеб европейских государств.

Вскоре после начала работы Пушкин писал Елизавете Михайловне Хитрово:

«Я предпринял обзор Французской революции. Если это возможно, умоляю Вас прислать мне Тьера и Минье. Оба эти труда запрещены. Здесь у меня только „Мемуары, относящиеся к революции“».

На письменном столе возле банки с вареньем начали расти книжные вавилоны. Он работал.

Но события не ждали выполнения замыслов. Они обгоняли и меняли их.

Восставшая Польша требовала Украины. И он, прервав свой труд о Франции, принялся за историю Украины, задуманную еще во времена «Полтавы». Надо было показать, что Украина – неотделимая часть России. Но это был только повод. Его интересовал процесс возникновения империи. А присоединение Украины было одним из важнейших моментов этого процесса. Однако и Украиной ему не пришлось долго заниматься.

Восстали военные поселения. Сама исконная Россия требовала объяснений, а стало быть, изучения. Надо было понять ее дух и движение с самых первых времен.

Французские книги вернулись на полки. За ними последовали «История Малой России» Бантыша-Каменского и «История Руссов», которыми он пользовался для украинских дел.

Он начал составлять план истории России с киевских времен. Набрал несколько отрывков – о стрелецком войске Грозного, о происхождении Романовых.

Казалось, он мечется, не может найти точки, с которой должно начать, не может выбрать тему. А между тем в уме его уже созрел замысел, который станет главным его делом – до смерти.

9

В марте 1830 года Пушкин писал Вяземскому: «Я думаю пуститься в политическую прозу». Политическая проза – это не стихи на политические темы, которые можно писать время от времени. Это – особая сфера деятельности. Он решился войти в эту сферу.

Он думал об этом и мысли свои записывал кратко, но выразительно. Лапидарность его заметок – равно как и прозы – соответствовала точности и ясности его мысли.

«Невежество русских бар. Между тем как мемуары, политические произведения, романы – Наполеон газетчик, Каннинг поэт, Брум, депутаты, пэры, женщины. У нас баре не умеют писать».

Русские баре невежественны. Между тем именно они – русское дворянство – должны заниматься политической деятельностью. На Западе политические деятели – люди не только образованные, но и обладающие талантом писателей. Каннинг-поэт был руководителем английской политики в двадцатых годах. На Западе политический деятель оставляет после себя мемуары, он пишет книги о политике, он может написать роман. Бенжамен Констан, Шатобриан – парламентарии, государственные люди. А русский барин не всегда грамоте толком обучен.

«Русские великие люди» александровского и николаевского царствования вообще мало его устраивали. Через несколько лет он скажет в одной из заметок:

«Зачем ничтожных героев. Что делать. Я видел Ипсиланти, Паскевича, Ермолова».

Ипсиланти, русский генерал, попытавшийся возглавить греческое восстание 1820 года, был кумиром молодежи в начале двадцатых годов. Паскевич был наиболее удачливым полководцем нынешнего царствования. Ермолов, надежда декабристов, популярнейший генерал, преследуемый Николаем. Все они вызывают в Пушкине презрение. Ермолова он как-то назвал «великим шарлатаном». В них нет основательности политической, широты, европейской просвещенности. Они не могут спасти Россию.

Парламентские успехи Шатобриана и Констан, публицистика Наполеона и стихи Каннинга были серьезным аргументом в пользу его решения заняться политикой профессионально.

Прежде всего нужна была программа.

Этим он и занимался начиная с тридцать первого года, собирая и систематизируя соображения. И те, что были раньше, и те, что рождались теперь.

В первую очередь надо было уточнить – чего же он хочет.

Он был уверен, что политическая свобода России «неразлучна с освобождением крестьян». А потому необходимо было отменить крепостное право.

Он был уверен, что одно из верных оснований благоденствия государства – есть равенство граждан перед законом. Потому необходимо было укрепить в России законность – как для последнего простолюдина, так и для царя.

Его очень заботило также положение личности. Через несколько лет он скажет в крайнем раздражении:

«Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности невозможно: каторга не в пример лучше».

Парламентские заявления Бенжамена Констана о личной неприкосновенности гражданина были ему куда как понятны.

Российское самодержавие было – вне зависимости от личности монарха – чистейшим деспотизмом. При добром царе деспотизм этот был терпим, при злом – превращался в невыносимый гнет. М-м Сталь говорила шутя, что русское государственное устройство – это самовластие, ограниченное удавкой, – речь шла о смерти Павла. Но тем, кто жил в России, было не до шуток. Пушкин полагал, что самодержавие надо ограничить более надежным и цивилизованным средством, чем удавка. И сделать это следовало без насильственных переворотов. В 1831 году он записал:

«Устойчивость – первое условие общественного благополучия. Как она согласуется с непрерывным усовершенствованием».

Как согласовать устойчивость государственной системы с ее реформированием, ему еще было не совсем ясно. Но что надо идти по пути реформ, а не переворотов – в этом он был убежден.

Для того чтобы проводить реформы, нужна была сила, которая бы этим занималась.

Самой реальной силой было правительство. «Правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения», – писал он Вяземскому в начале 1830 года. В 1826 году Николай создал секретный комитет во главе с графом Кочубеем, бывшим либералом, для разработки планов реформ. В частности, для исследования вопроса об освобождении крестьян. В 1830 году, после пяти лет многообразной деятельности, комитет прекратил свое существование. Правительство нужно было подталкивать, заставлять. Кто мог это делать?

В 1831 году или немного позже – это не играет роли – он составил план большой статьи – «О дворянстве». Он мыслил теперь прежде всего как историк. И заметки начинаются с исторического экскурса. Он прослеживает деградацию дворянства с XVII века. А затем переходит к существу дела:

«Высшее дворянство не потомственное (фактически). Следовательно, оно пожизненное: деспотизм окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость. Потомственность высшего дворянства есть гарантия его независимости; обратное неизбежно связано с тиранией или, вернее, с низким и дряблым деспотизмом».

В Англии, скажем, место в Палате лордов было наследственным. После смерти лорда его наследник механически становился лордом, то есть государственным деятелем. Он не был обязан этим королю. Король не мог отстранить лорда от государственной деятельности. Таким образом, высшее английское дворянство имело возможность оппозиции. Оно было независимо. Оно могло оказывать давление на власть.

В России государь был окружен *чиновниками*, которых он назначал или смещал по своему желанию и которые заменяли «высшее дворянство». Человек мог оказывать влияние на государственные дела только до тех пор, пока царь этого хотел. Естественно, никакая оппозиция в этих условиях была невозможна.

Мысли эти мучили Пушкина постоянно. Еще в 1830 году он писал:

«Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. Смотри около себя и читая старые наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворянские роды уничтожились, как остальные падают и исчезают; как новые фамилии, новые исторические имена, заступив место прежних, уже падают, ничем не огражденные...»

Новое бюрократическое дворянство, возвысившееся по манию самодержца, по его прихоти и гибнет, ибо оно не ограждено наследственными правами и противовесом самодержавию быть не может.

А много позже в «Родословной моего героя» сказано было:

Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух...

Вряд ли случайно – для рифмы – выбраны именно князья Пожарские. Князь Пожарский вместе с Мининым спас Россию в Смутное время.

Надежды Пушкина на дворянство происходили вовсе не оттого, что он полон был сословными предрассудками. Нет. Просто он был *реальный политик*. И понимал, что если можно рассчитывать на кого-то в тот момент, то на дворянство.

Проблема крестьянства как политической силы была еще не ясна ему окончательно. Решил он для себя эту проблему только в «Пугачеве».

Сила, которая могла бы ограничивать и направлять власть, была необходима.

«Что такое дворянство? потомственное сословие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? народом или его представителями. С какой целью? с целью иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных предстателей».

Дворянство, стало быть, должно было получать свои права из рук народа и блюсти народные интересы.

Могло ли современное Пушкину дворянство претендовать на эту роль? никоим образом. Дворянство следовало воспитывать.

«Нужно ли для дворянства приуготовительное воспитание? Нужно. Чему учиться дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще)».

Проблема дворянской чести занимала его чрезвычайно. Ибо от этого зависело выполнение человеком своего долга. Важно было решить, в чем этот долг заключался.

Одним из главных рычагов воспитания он считал изучение истории. Особенно истории русской. Он писал еще в 1826 году в записке «О народном воспитании»:

«Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целью искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве».

То, что происходило с дворянством в России, вело к катастрофе. Ибо та часть дворянства, которая не могла примириться с положением вещей, лучшая его часть – не малограмотные бары – становилась идеальным материалом для мятежа.

«Падение постепенное дворянства; что из того следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.».

Вместо того чтобы быть двигателем благотельных реформ, отстраненное от государственных дел дворянство с самыми лучшими намерениями шло на страшные беззакония.

В 1834 году он запишет в дневник свой разговор с великим князем Михаилом Павловичем, которому он скажет:

«Что же значит наше старинное дворянство с именьями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство? Этакоей страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много».

Мысль о новом кровавом возмущении, о грядущей катастрофе не покидала его.

Путем умелого воспитания дворянство следовало превратить в созидательную силу. Дворянству следовало дать возможность окрепнуть. Путем восстановления майоратов – неделимых имений, переходящих по наследству к одному только из наследников, – надо было укрепить дворянство материально. А это, в свою очередь, вело бы к сознанию независимости.

Если первое он мог взять на себя, то второе было делом правительства. А правительство еще надо было убедить.

10

В своих заметках Пушкин определил власть в России как «низкий и дряблый деспотизм». Он прекрасно отдавал себе отчет в том, с чем имеет дело.

Откуда же тогда его лояльность? От надежды на возможность реформ. Надежда эта – от веры в Николая как человека. От веры, что этого человека можно убедить, можно сделать союзником. От безумной веры, что этим человеком можно управлять.

Их первая встреча хорошо известна. «Где бы ты был 14 декабря?» – «На Сенатской площади с моими друзьями».

Полное и точное содержание их разговора неизвестно, но, судя по всему, речь шла о необходимости реформ, о его, Николая, грандиозных преобразовательных планах. Разговор, очевидно, шел и об уважении царя к литературе – «во мне почтил он вдохновенье». Быть может, были сделаны намеки на возможное прощение декабристов. Быть может, именно этим вызваны настойчивые напоминания Пушкина.

Как бы то ни было, разговор был серьезный и обнадеживающий. Иначе невозможно понять восторженные высказывания поэта о царе в первые годы после освобождения из ссылки.

Николай сумел понравиться некоторым декабристам во время следствия.

Пушкин, как известно, ехал на это свидание, готовый к резкому разговору, к трагическому для него исходу встречи. И тем не менее внутренне он был готов и к другому варианту. Он понимал теперь своим ясным умом гибельность того пути, который избрали его друзья, как понимал и «необъятную силу правительства, основанную на силе вещей». Он умел смотреть в глаза реальности. Он был готов к союзу с правительством на почетных условиях. Условия превзошли все ожидания. Его освободили из ссылки. Его освободили от цензуры. С ним делились планами. Государь явно готов был прислушаться к мнениям первого поэта России. Ему было предложено вскоре изложить свои мысли о народном воспитании.

Царь, оказавшийся вовсе не чудовищем, брал его в союзники.

Разумеется, Пушкин прекрасно понял, что между ним и царем нет и не может быть полного единомыслия. Но царь готов был прислушаться к нему, а это уже было важно.

Не осознав еще себя человеком государственным, Пушкин придавал большое значение влиянию на царя.

Самым тяжким и болезненным в их отношениях была судьба декабристов. Но существовала надежда на перемены в этой судьбе. И была возможность этой перемене способствовать.

Он написал «Стансы» – некоторым образом программу царствования. Его не поняли – с самого начала. Ему пришлось писать послание друзьям, в котором он настаивал на своем праве давать советы царю.

Царь поставил между Пушкиным и собой Бенкендорфа, отношения с которым складывались не всегда идиллически.

И тем не менее воздействие на царя было серьезной надеждой.

И то, что царь делал в это время, подтверждало возможность союза. Было известно, что Николай сразу после окончания следствия по делу 14 декабря приказал составить свод мнений декабристов о положении в России. Один экземпляр он постоянно держал у себя на столе.

В декабре 1826 года, когда он создал секретный комитет Кочубея, Кочубей тоже получил экземпляр свода.

7 мая 1828 года Николай начал войну с Турцией. Россия выиграла эту трудную войну. Одним из результатов победы было освобождение Греции.

Надо помнить, какой восторг в начале двадцатых годов вызвало греческое восстание у всех либералов России. И у Пушкина тоже. Александр тогда предал греков. Восстание турки подавили. Теперь Николай освободил греков.

Война окончилась в 1829 году.

1830 год тоже принес Пушкину доказательства его правоты. В мае он писал Плетневу:

«Милый! Победа! Царь позволяет мне напечатать *Годунова* в первобытной красоте... Царь со мною очень мил».

Этот год был чрезвычайно важным для их отношений.

В середине сентября в Москве началась холера. Меры, принятые московским начальством, оказались недостаточны. Число жертв умножалось. Тогда император выехал в Москву. Неизвестно, увеличило ли его посещение эффективность противохолерных мер, но бодрости москвичам оно, несомненно, прибавило. Поступок был решительный и незаурядный. Рядовых современников он привел в восторг:

«Государь-то какой ангел! Всем известно, как он любит императрицу и детей своих, – а он оставляет непринужденно все, что сердцу его дорого, ценно, чтобы лететь в Москву, которую описали ему жертвою смертоносной лютой заразы!»

Даже та часть общества, которая была настроена по отношению к царю критически, заколебалась. Вяземский, отнюдь не разделявший в двадцатые годы пушкинских иллюзий, записал 6 октября:

«Приезд государя в Москву есть точно прекраснейшая черта. Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу Владыке».

Для Пушкина это событие было особенно важно. Оно ускорило принятие рокового решения. Оно убедило его, что на Николая можно рассчитывать. Он писал Вяземскому 5 ноября:

«Каков государь? молодец! того и гляди, что наших каторжников простит – дай Бог ему здоровье».

Человеческое благородство царя для Пушкина имело ценность прежде всего в аспекте политическом. Благородный царь должен был простить и вернуть декабристов – а это было важно для дела обновления России.

Еще за полгода до всего этого, 16 марта, он говорил в письме тому же Вяземскому:

«Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организации, контрреволюции революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных – вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу».

Петр в свое время введением Табели о рангах уничтожил преимущество родового дворянства перед бюрократами. Каждый чиновник, достигнув определенного чина, получал дворянство. Бюрократы, люди без опоры в прошлом и настоящем, существующие только милостью царя и, стало быть, прочная опора деспотизма, потеснили дворян с их склонностью к здоровой оппозиции. Николай, по сведениям Пушкина, собирался вернуть родовому дворянству его значение, поставить бюрократию на место и дать «права людей» униженным классам. Позиции правительства и Пушкина, как ему казалось, совпали. Следовательно, должно было содействовать правительству.

Затем была осень 1830 года – «болдинская осень». Он подвел итоги пятнадцатилетнего литературного труда. Закончив «Онегина», распрощался с двадцатыми годами. Написал «Повести Белкина», положив начало русской прозе и определив законы своей прозы. Написал «Маленькие трагедии», впервые в русской культуре идеально подчинив форму высокой смысловой задаче и потому резко оторвавшись от любой традиции. Создал для себя новый жанр – «драматические изучения», – он показал, что творческая свобода и философическая строгость мысли, сочетаясь, дают необъятные возможности исследования любых проблем – семейных, исторических, общемировых.

Он написал два сочинения необыкновенной личной значимости – «Моя родословная» и «История села Горюхина». Он определил в них свой путь в тридцатые годы. Определил несколько еще иронически, потому что многое было ему неясно в собственном будущем, а многое – страшило.

Но этой осенью в родовом Болдине он доказал себе, что *в литературе он может все*. И психологически это должно было сыграть огромную роль в выборе жизненной стратегии.

Нужно было определить тактику.

И тут Николай, к которому он напряженно присматривался, проявил себя героически – посетил холерную Москву.

В «Герое», написанном в октябре 1830 года, где Николай сравнивался с Наполеоном, посетившим чумной барак, было сказано:

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран!..

По своему положению Николай – тиран. Никуда от этого не деться. Но у него благородное сердце. Значит, есть надежда просветить его. Из тирана он может превратиться в просвещенного государя.

Пушкин, которого поэт ценил, быть может, больше, чем кого бы то ни было, писал накануне восстания:

«Случай удобен. Ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов».

Чувство чести, чувство долга было для этих людей необходимым условием жизни. Пушкин был человеком той же формации. Он верил, что ему суждено продолжить дело своих друзей – другими средствами. Они попытались вывести Россию из тупика вооруженной рукой. И не смогли. Он был уверен, что нашел верный путь. Это был его долг. Знать, что случай удобен, – и устранившись, не вмешаться в дела истории было бесчестно.

24 февраля 1831 года он писал Плетневу:

«Из газет узнал я новое назначение Гнедича. Оно делает честь государю, которого искренне люблю и за которого всегда радуюсь, когда поступает он умно и по-царски».

А в июле – Нащокину:

«Царь со мной очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики...»

Это не только шутка. Это и затаенная надежда, которая казалась тогда близкой к осуществлению.

Молодой просвещенный царь и первый русский поэт. Газету между тем ему не разрешили. Но он не терял надежды.

11

В те самые дни, когда он с некоторым смущением, а потому иронически писал Нащокину о своей надежде «попасть во временщики», он отправил Бенкендорфу официальную бумагу, о которой уже шла речь. В ней он просил о разрешении издавать политическую газету.

Но, кроме того, в бумаге этой были еще две важнейшие просьбы.

«Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями его величества, мне давно было тягостно мое бездействие. Мой настоящий чин (тот самый, с которым выпущен я был из Лицея), к несчастью, представляет мне препятствие на поприще службы. Я считался в Иностранной коллегии от 1817-го до 1824-го года; мне следовали за выслугу лет еще два чина, т. е. титулярного и коллежского асессора, но бывшие мои начальники забывали о моем представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало».

Он хотел занять положение официальное – как Карамзин.

«Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

Несмотря на самоуничижающее заявление, это именно просьба – если помнить начало письма – о предоставлении должности историографа. С чином и жалованьем.

Но важнее жалованья для него в тот момент было именно официальное положение. Он хотел включиться в государственную структуру.

Судя по всему, он уже договорился с царем о вступлении в службу и о работе в архивах. Очевидно, во время одной из их встреч в Царском Селе. Но письмо – задним числом оформляющее эту договоренность – важно по тону и деталям.

Он фактически собирается начать там, где кончил Карамзин. Обширный пролог охватывал царствование первых Романовых – от Михаила до Федора. Основное же повествование он хотел начать с Петра I, который сломал дворянство, и кончить Петром III, который указом о вольности дворянства в какой-то степени возвратил его самостоятельность.

22 июля Пушкин писал Плетневу:

«...царь взял меня в службу – но не в канцелярскую, или придворную, или военную, – нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы, с тем чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли?»

Итак, жребий был брошен. Он стал историографом.

Он не назывался так официально. Но, получив доступ в архивы для писания русской истории, он стал государственным лицом немалого политического значения.

Такова была традиция начиная с эпохи «Повести временных лет». Создание всех крупных историй – «Повести», «Сказания о князьях Владимирских», Хронографа XV века, Никоновского свода, научных трудов Татищева, Щербатова, Карамзина – всегда было крупной политической акцией. Вмешательством авторов в дела государства.

Пушкин не мог и не хотел быть исключением.

Это был его путь борьбы. Его вмешательство в дела царства. Его давление на правительство. Его проповедь обществу. Его миссия.

В черновом варианте записки «О народном воспитании» он назвал «Историю» Карамзина «алтарем спасения, воздвигнутом русскому народу».

Так он смотрел на историю – «алтарь спасения».

Понятие «история» для него включало все – государственные размышления, нравственные уроки, философские идеи. И – науку.

Карамзин писал свою «Историю», чтобы просветить общество и дать урок Александру, которого он любил.

Пушкин приступал к своей истории с той же целью. Но с иными мыслями. И царь был иной.

12

После приезда двора в Царское Село Пушкин время от времени встречал императора во время прогулок. Тот неизменно подзывал поэта, и они беседовали.

Во время одной из таких бесед и было решено вступить Пушкину в службу. Царь держался просто и расположено.

Через несколько дней, гуляя с женой, Пушкин встретил императорскую чету. Наталья Николаевна чрезвычайно понравилась царствующим особам.

Следствия этого свидания тоже были важны.

«Моя невестка очаровательна; она вызывает удивление в Царском, и императрица хочет, чтоб она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что не глупа; я не то хотела сказать: хоть она вовсе не глупа, она еще немножко робка, но это пройдет, и она, красивая, молодая и любезная женщина, поладит и с двором, и с императрицей» – так писала в августе 1831 года Ольга Павлищева, сестра Пушкина.

Молодая жена Пушкина привлекала внимание не только императорской фамилии.

Жуковский писал Вяземскому в конце июля:

«Пушкин мой сосед, и мы видаемся с ним часто. Женка его очень милое творение. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше».

Василию Андреевичу казалось, что покой царит в недавно еще беспокойной душе его друга. И причину этого он видел в женитьбе.

Между тем покоя не было. Было высокое самообладание. И на душу Пушкина женитьба оказала весьма малое влияние.

Конечно, он женился по любви. Конечно, он был влюблен.

«Женка моя – прелесть не по одной наружности».

Она была мила, наивна. Она была совершенным ребенком по развитию. Эта детскость не могла не умилять его. Но у него был ясный идеал женщины, светской женщины самого высокого класса – Татьяна из VIII главы.

И он надеялся воспитать жену. Поднять ее до этого идеала.

Он был влюблен, но трезв. Он писал Кривцову, приятелю молодости, с которым ему не было надобности хитрить:

«Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои

домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностию. У меня сегодня сплин – прерываю письмо мое, чтобы тебе не передать моей тоски; тебе и своей довольно».

Это было написано перед свадьбой. Конечно, он был влюблен. Но женился он не без трезвого расчета.

Та огромная задача, которая уже в конце двадцатых годов брезжила перед ним, требовала иных условий жизни. Он вспоминал жизнь Карамзина, к которой прикоснулся в лицейские годы. Жизнь Карамзина-летописца, тихий уютный дом. Жизнь устроенная и спокойная. Заботливая, понимающая жена. В этом доме, в этом покое свершал Карамзин свой подвижнический труд.

Ему, Пушкину, нужен был покой. Для свершения своего труда.

Он многое предусмотрел. Он не предусмотрел только ее заурядности.

Екатерина Андреевна Карамзина была женщиной незаурядной. Она понимала – кто ее муж.

Наталья Николаевна Пушкина была женщиной заурядной. Вряд ли она поняла когда-нибудь по-настоящему, с кем свела ее судьба.

Слишком разным был масштаб. Не умственный, бог с ним! – душевный. Пушкин более всего нуждался в понимании. И этого-то понимания он не видел и от людей куда более умных, чем его жена.

Ему нужны были единомышленники.

Ближе всего по уму и возможностям стоял к нему Вяземский. Летом 1831 года их близость кончилась. Остался дружеский тон в письмах. Остались общие литературные демарши в печати. Некоторые общие идеи. Но появились внутри отчетливая неприязнь и недоверие.

13

4 сентября Пушкин узнал о взятии Варшавы. На другой день он прислал Россет «Бородинскую годовщину».

Еще в августе он написал «Клеветникам России». Он читал эти стихи императору, императрице и наследнику. Августейшее семейство было довольноно.

Оба стихотворения совпадали не только по главному смыслу, но и по словам.

Пятого был молебен во дворцовой церкви. Пушкин присутствовал.

После молебна Николай подозвал Пушкина, поблагодарил за присланную «Бородинскую годовщину», сказал, что стихи превосходны.

До того как появиться в печати – отдельной брошюрой – вместе с «Клеветниками России» и «Старой песней» Жуковского, «Бородинская годовщина» пошла в списках и вызвала восторг.

Но не у всех.

В письме от 11 сентября Вяземский писал Пушкину из Москвы:

«Дмитриеву минуло вчера 71... Вчера утром приходит к нему шинельный поэт и, вынимая из-за пазухи тетрадь, поздравляет его; Дмитриев, занятый мыслью о дне своего рождения, спрашивает его: а почему вы узнали? – Шинельный поэт заминается и наконец говорит: признаться, вчера в газетах прочел. Дело в том, что он поздравлял с Варшавою и приносил оду Паскевичу. Прощай... Надписывая адрес на письме к тебе, мне всегда хочется сказать:

Спросить в Лицее, в Пантеоне».

Шинельными поэтами называли самодеятельных стихотворцев, которые в надежде на мзду подносили важным лицам свои сочинения.

В письме Пушкин, написавший «Бородинскую годовщину», недвусмысленно ставился рядом с тем графоманом, который поднес свои вирши на ту же тему его высокопревосходительству Ивану Ивановичу Дмитриеву.

Вяземский выразил свое презрение к позиции Пушкина достаточно ясно. И упоминание о Лицее не случайно. Намек крайне прозрачный – кем ты был в молодости и кем стал теперь.

В записной книжке Вяземский отвел душу:

«Вот воспевайте правительство за такие меры, если у вас колена чешутся и непременно надобно вам ползать с лирою в руках... Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспевать победы Паскевича».

В том же письме от 11 сентября Вяземский под не очень благовидным предлогом отказывается издавать вместе с Пушкиным журнал, разрешение на который поэт надеялся получить.

Пушкин не простил Вяземскому этого письма.

Они не простили друг другу сентябрь 1831 года.

Вяземский в своем негодовании был не одинок. Литератор Н. А. Мельгунов писал в декабре 1831 года С. П. Шевыреву, близко знавшему Пушкина:

«Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши. Он мне так огадился, как человек, что я потерял к нему уважение, даже как к поэту. Ибо одно с другим неразлучно. Я не говорю о Пушкине, творце „Годунова“ и пр., – то был другой Пушкин, то был поэт, подававший великие надежды и старавшийся оправдать их. Теперешний же Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща и который, вместо того чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств, для принесения им в жертву своего дара. Упал, упал Пушкин, и, признаюсь, мне весьма жаль этого. О, честолюбие и сластолюбие».

Мельгунов был прав в одном – Пушкин действительно перестал смотреть в лицо Аполлону.

Страшно читать эти слова, написанные порядочным и неглупым человеком.

Страшно видеть, как самые разные силы объединились в осуждении Пушкина.

Все – друзья и враги – понимали, что с ним что-то происходит, что он меняется.

Но враги – во всяком случае, Булгарин – лучше поняли смысл этих перемен.

14

«„Полтава“ не имела успеха. Вероятно, она и не стоила его; но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям; к тому ж это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся».

Так начинался отрывок из большой статьи «Опровержение на критики», который Пушкин напечатал в 1831 году в альманахе «Денница». Статья была написана в 1830-м. Целиком он ее печатать не стал.

А опровергать было что. С 1830 года его травили.

Он написал послание «Вельможе». Поводом был старый князь Юсупов, темой – XVIII век, со всеми его мудрствованиями и бурями, потрясшими мир. В одном двустишии он очертил суть английского парламента, весьма его занимавшего. В нескольких строчках – беспечность и крах королевской Франции. Тоже предмет немаловажный.

Он написал философско-исторический трактат в прекрасных стихах. Его обвинили в лакействе.

Николай Полевой в «Новом живописце общества и литературы» напечатал «Утро в кабинете знатного барина». Знатный барин (читай – Юсупов) беседует со своим секретарем Подлецовым.

«КНЯЗЬ. Скажи, что у тебя смешного?»

ПОДЛЕЦОВ. Вот листок какой-то печатный; кажется, стихи Вашему Сиятельству.

КНЯЗЬ (*взглянув*). Как! Стихи мне? А! Это того стихотворца... Что он врет там?

ПОДЛЕЦОВ. Да что-то много. Стихотворец хвалит вас; говорит, что вы мудрец: умеете наслаждаться жизнью, покровительствуете искусствам, ездили в какую-то землю только затем, чтобы взглянуть на хорошеньких женщин; что вы пили кофе с Вольтером и играли в шашки с каким-то Бомарше...

КНЯЗЬ. Нет? Так он недаром у меня обедал... А стихотворцу скажи, что по четвергам я приглашаю его всегда обедать у себя. Только не слишком вежливо обходись с ним; ведь эти люди забывчивы; их надобно держать в черном теле...

Его обвиняли в том, что он стихами выклянчивает себе право обедать у вельмож. Ни больше ни меньше.

В том же 1830 году в «Московском телеграфе» появилась пародия на «Собрание насекомых», обвинявшая его и его друзей в подражательстве и подписанная – «Обезьяний». Намек на его наружность.

«Вестник Европы» напечатал две подписи «К портрету Хлопушкина».

I

Младой певец Фактыдурая!
Хвала тебе, Евгений наш, хвала!
Ты, глупой скуки яд по капле выпивая,
Неопытным сердцам наделал много б зла...
Но, к счастью, ты велик... на малые дела.

II

О, гений гениев! неслыханное чудо!
Стишки ты пишешь хоть куда.
Да только вот беда:
Ты чувствуешь и мыслишь очень худо!
Хвала тебе, Евгений наш, хвала,
Великий человек на малые дела!

В 1831 году появились такие стихи:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел:
И стих его не звучен,
И гений охладел.
«Бориса Годунова»
Он выпустил в народ:
Убогая обнова —
Увы! – на новый год!

Всех превзошел Булгарин.

В № 30 «Северной пчелы» за 1830 год в фельетоне «Анекдот» Пушкин характеризовался следующим образом:

«Француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели Музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое существо, как устрица; а голова род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно

иступленным в басне Пильпая, бросающим камни в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; который марает белые листы на продажу, чтоб спустить деньги на крапленых листах, и у которого господствующее чувство – суетность».

Через несколько дней Булгарин напечатал рецензию на только что вышедшую главу VII «Онегина».

«Мы сперва подумали, что это мистификация, просто шутка или пародия, и не прежде уверились, что эта глава VII есть произведение Сочинителя Руслана и Людмилы, пока книгопродавцы нас не убедили в этом. Эта глава VII, два маленькие печатные листика – испещрена такими стихами и балагурством, что в сравнении с ними даже *Евгений Вельский* кажется чем-то похожим на дело. Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения. Совершенное падение...»

И далее патриот Булгарин сокрушается, что Пушкин, ездивший перед тем в армию Паскевича, не счел возможным воспеть победы русского оружия, снова выпустил в свет «бледного, слабого» Онегина. Это был прямой донос.

Но этого еще мало. За издевательским разбором стихов последовал такой пассаж:

«Подъезжают к Москве. Тут Автор забывает о Тане и вспоминает о незабвенном 1812 годе. Внимание читателя напрягается; он готов простить Поэту все прежнее пустословие за несколько высоких порывов... Читатель ожидает восторга при воззрении на Кремль, на древние главы храмов Божиих; думает, что ему укажут славные памятники сего *Славянского Рима* – не тут-то было. Вот в каком виде представляется Москва воображению нашего Поэта:

Прощай, свидетель *падшей* (?) славы (?????)».

Это было неожиданно даже со стороны Булгарина. Ведь из соседних стихов безошибочно явствовало, что речь идет о падшей славе Наполеона, коей Москва была свидетелем. Но Фаддей Венедиктович пошел на подтасовку, для которой слова «наглая» или «бесстыдная» – бледны. Он надеялся, что многие читатели, и в том числе генерал-адъютант Бенкендорф, ограничатся сведениями из его рецензии и Пушкин будет обвинен в надругательстве над святыней. Это была иллюстрация к фразе из «Анекдота»: «бросает рифмами во все священное».

Однако в данном случае Булгарин пошел несколько дальше, чем следовало. Бенкендорф был статьей доволен. Но император вознегодовал. Он приказал Бенкендорфу сделать Булгарину внушение и даже заговорил о возможном закрытии «Северной пчелы».

Это заступничество, разумеется, сыграло роль в расцвете иллюзий следующего, 1831 года.

Между тем в октябре 1830 года Булгарин напечатал в 12-м томе собрания своих сочинений, которое выходило в то время, повесть «Предок и потомок». В повести этой стольник царя Алексея Михайловича некто Свистушкин проспал в замороженном состоянии двести лет и проснулся в XIX веке. Проснувшись, он стал искать своих потомков и нашел поэта Никандра Семеновича Свистушкина, автора двух сочинений – «Воры» и «Жиды» (то есть «Братья разбойники» и «Цыганы»). Что же слышит он о своем потомке?

«Ваш потомок и его товарищи, право, в существе, добрые ребята и вовсе не опасны. Винные пары и угар от самолюбия перевернули мозг в их голове, и тщеславие заглушило все другие чувствования. Они сами не знают, чего хотят и что делают! Вопят противу всего в чаду винного упоения; помахивают деревянными кинжалами и грозят бумажными перунами негодования, а на деле лижут прах ног каждого сильного, из одной надежды получить что-либо, и ради обеда прославляют в посланиях блистательных шутов».

Наконец, увидев потомка, предок приходит в ужас:

«Какой это потомок мой? Это маленькое зубастое и когтистое животное, не человек, а обезьяна!»

Здесь политический донос замыкался издевательством над внешностью Пушкина. Обигрывался его небольшой рост, белые зубы и длинные ногти. «Не человек, а обезьяна!»

Этой биологической ненависти было свое вполне логическое объяснение.

«Северная пчела» была очень популярна. Романы Булгарина раскупались и читались с упоением средним читателем. К его мнению публика прислушивалась. В провинции он был просто оракулом.

Единственным, кто мог ему противостоять, был Пушкин. И дело было не только в тщеславии или денежной выгоде. Булгарин был гением пошлости. Пошлость как форму существования он проповедовал со страстью. Эта идея была ему дорога. Потому все, что делал Пушкин, было ему враждебно как разрушение его идеи.

Была борьба за публику. И была борьба за влияние на правительство. Булгарин представлял Бенкендорфа в литературе. Пушкин делал ставку на Николая. «Стансы» и «Друзьям» были тому доказательством. Равно как и его устные речи, доходившие до Булгарина.

Влияние Пушкина могло оказаться сильнее булгаринского. Политическая подоплека пасквилей была вызвана именно этим. Булгарин хотел внушить недоверие к Пушкину.

В 1830 и 1831 годах враждебная Пушкину пресса точно с цепи сорвалась. И не случайно. Ибо становилось ясно, что из романтического поэта – в их представлении – он становился деятелем. Это было опасно.

Пушкин понимал серьезность ситуации. Погодин записал в дневник в январе 1830 года: «Пушкин сердится ужасно, что на него напали все».

Надо было действовать.

И в 1831 году он напечатал в «Телескопе» две оглушительные статьи, в которых все представил по местам – истинные «заслуги» Булгарина перед русской литературой, его увольнение из русской армии и службу у Наполеона, его связи с полицией – все было сказано так, как мог сказать только Пушкин.

Получил свое и Греч.

На тот случай, если «Северная пчела» не уймется, было обещано продолжение.

Булгарин замолчал. Но вряд ли только от испуга. Он, надо сказать, был не из робкого десятка и обладал темпераментом кабана. Впав в ярость, он переставал соизмерять поступок с возможным результатом. Тут, очевидно, сыграли роль новые отношения Пушкина с императором летом 1831 года. И новое – официальное – положение Пушкина.

Кабан кабаном, но тяжелой руки Николая Булгарин боялся.

Летом тридцать первого года Пушкин написал только одну крупную вещь в стихах – «Сказку о царе Салтане». Историю клеветы. Клеветы, сперва восторжествовавшей, а потом посрамленной.

15

Для реализации планов Пушкину нужна была сила.

Кроме проблематичной опоры на императора, нужно было опираться на силу собственную. Собственную силу могла дать популярность.

Он писал в черновом письме к Бенкендорфу в 1830 году:

«Могу сказать, что в последнее пятилетие царствования покойного государя я имел на все сословие литераторов гораздо более влияния, чем министерство, несмотря на неизмеримое неравенство средств».

Он писал правду. В двадцатые годы он был силен «мнением народным». Он был популярен.

Теперь той популярности не было. То, что он писал в последнее время, не вызывало восторга у читателей. То, что он собирался писать, тем более не могло этого восторга вызвать.

Однако менять свое направление он не мог. Он собирался писать то, что считал должным. Стало быть, разрыв мог только увеличиться.

Но он надеялся совершить невозможное. Ему нужно было быть сильным.

Сознавал ли он, на что идет? Подходил ли он для роли государственного человека? Не переоценил ли он свои возможности на поприще политическом?

Во-первых, он был поражающе умен. Иван Киреевский, незаурядный мыслитель, писал после знакомства:

«В Пушкине я нашел больше, чем ожидал. Такого мозга, кажется, не вмещает ни один русский череп, по крайней мере ни один из оцупанных мною».

Во-вторых, он был умен умом универсальным. В том числе и государственным. Мицкевич, человек огромного масштаба, писал о своем друге:

«Когда он говорил о политике внешней или отечественной, можно было подумать, что это человек заматерелый в государственных делах и пропитанный ежедневным чтением парламентских дебатов».

Когда Пушкин умер, Мицкевич сказал, что смерть эта «нанесла опасный удар умственной жизни России».

Только теперь мы можем оценить в полной мере его правоту.

1832

Пушкин столь же умен, сколь практичен; он практик, и большой практик...

С. А. Соболевский – С. П. Шевыреву. 1832

Спрашиваю, по какому праву «Северная пчела» будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь «Северный Меркурий»?

Пушкин. 1831

*Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его...
Водворить хочет новую систему.*

Н. А. Муханов. Из дневника. 1832

1

Он стал чиновником.

После летних переговоров с государем, когда принципиально вопрос был решен, наступила пауза до ноября.

14 ноября 1831 года на запрос Министерства иностранных дел – каким чином принять «известного нашего поэта, коллежского секретаря Пушкина» в службу, последовал ответ:

«Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять в службу тем же чином...»

Дальше дело пошло своим чередом. Государственная машина помещала его в себя неторопливо, тщательно, обдуманно. Каждый шаг был обставлен величественными формальностями. Для всех этих людей он как бы заново рождался.

3 декабря 1831 года граф Нессельроде запрашивал государя:

«Вашему императорскому величеству благоугодно было повелеть определить коллежского секретаря Пушкина в Коллегию иностранных дел тем же чином, оставив производство его в следующий чин до 6 декабря. Перед наступлением сего времени я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего соизволения на пожалование Пушкина в титулярные советники».

Это было весьма торжественное действо – производство коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники. Ни царь, ни тем более Нессельроде не чувствовали идиотизма происходящего. Впрочем, быть может, они были правы. Происходящее было серьезно.

«1831 г. декабря в 4-й день по Указу его императорского величества в Государственной Коллегии иностранных дел, во исполнение высочайшего указа, объявленного сей коллегии г. вице-канцлером в 14-й день минувшего ноября, в котором написано: „Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина считать в ведомстве сей коллегии, привести его на верность службы к присяге и взять надлежащую подписку о непринадлежности к тайным обществам“».

6 декабря 1831 года последовало высочайшее решение:

«Государь император всемилостивейше пожаловать соизволил состоящего в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел, коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники».

27 января 1832 года титулярный советник Пушкин принял присягу на верность службы и дал расписку о непринадлежности к тайным обществам и масонским ложам.

27 января 1832 года он стал полноправным членом великой корпорации российских чиновников. Свершилось. Он сам этого хотел. Он сам дал толчок этому необратимому движению. Он желал быть внутри системы, чтобы воздействовать на нее. Он вступил в игру, законы которой были ему чужды. Поэтому он не относился к ним всерьез. Но для тех, кто держал банк, законы эти были священны.

2

7 февраля 1832 года.

«Генерал-адъютант Бенкендорф покорнейше просит Александра Сергеевича Пушкина доставить ему объяснение, по какому случаю помещены в изданном на сей 1832 год альманахе под названием *Северные Цветы* некоторые стихотворения его, и между прочим *Анчар*, *Древо яда*, без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения».

Пушкин ответил в тот же день.

«Милостивый государь Александр Христофорович.

Ваше высокопревосходительство изволили требовать от меня объяснения, каким образом стихотворение мое, *Древо яда*, было напечатано в альманахе без предварительного рассмотрения государя императора: спешу ответить на запрос Вашего высокопревосходительства.

Я всегда твердо был уверен, что высочайшая *милость*, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и *права*, данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры...»

Дело было, естественно, не в самом факте публикации, что и прежде бывало и не вызывало нареканий. Дело было в «Анчаре», который не без оснований показался подозрительным.

Это значило, что за ним следят, и следят пристально. После идиллических бесед с государем в Царском, после чтения «Клеветникам России» императорской семье, после тех знаков внимания, которые императрица оказывала Наталье Николаевне, после того, как его надежды на влияние государственное казались такими реальными, – после этого он понял, что ему доверяют не больше, чем прежде.

Он не был прекраснородушен и наивен. Но, сам будучи человеком глубоко порядочным, с ясным понятием о чести, он не думал, чтобы люди столь высокого положения, как царь, Бенкендорф, Фон-Фок, лгали ему. Ему казалось, что им смысла нет ему лгать. Свое нерасположение они могли выразить, ничего не опасаясь.

Они, однако, выражали расположение. И лгали.

Когда в 1830 году, сватаясь к Натали Гончаровой, он просил Бенкендорфа разъяснить ему его, Пушкина, положение, шеф жандармов, в частности, ответил, что никто к нему, Пушкину, не имеет никаких претензий, что царь к нему благоволит, что никакого надзора за ним нет.

Письмо Бенкендорфа было написано 28 апреля 1830 года.

12 апреля того же года Вяземский писал жене:

«Государь, встретясь однажды с Жуковским, кажется, у императрицы, сказал ему: Пушкин уехал в Москву. Зачем это?.. Жуковский ответил, что он не знает причины отъезда его. Государь: „Один сумасшедший уехал, другой сумасшедший приехал“».

Другим сумасшедшим был Вяземский. В Москву Пушкин уехал без спросу за месяц перед тем. История была свежая.

О полицейском надзоре Бенкендорф выразился так:

«Никогда никакой полиции не давалось распоряжение иметь за вами надзор».

Между тем тщательный полицейский надзор велся за Пушкиным с 1828 года по решению Государственного совета. Куда бы Пушкин ни ехал – отовсюду поступали соответствующие донесения. Бенкендорф их внимательно читал.

Надо отдать должное как Николаю, так и его голубому ангелу-хранителю – солгать человеку в лицо им ничего не стоило.

Пушкин этого понять не мог. Он не знал, что они говорят о нем между собой презрительно и менее всего расположены принимать от него советы. История с «Анчаром» насторожила его.

Но планов своих он не изменил. Он продолжал верить в благородное сердце государя и возможность – даже в таких условиях – вразумить людей.

3

Среди немногочисленных пушкинских стихотворений 1832 года есть подражание Данте:

И дале мы пошли – и страх обнял меня.
Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.

Горячий капал жир в копченое корыто.
И лопал на огне печеный ростовщик.
А я: «Поведай мне, в сей казни что сокрыто?»

Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик:
Одно стяжание имев всегда в предмете,
Жир должников своих сосал сей злой старик

И их безжалостно крутил на вашем свете».

Вряд ли стихи эти случайны, ибо Пушкин выбрал отнюдь не типичный для Данте сюжет. В предыдущем году дел, напоминающих этот сюжет, у него было немало.

21 июля 1831 года он писал Нащокину в Москву:

«С Догановским не худо, брат, нам пуститься в разговоры или переговоры – ибо срок моему первому векселю приближается».

29 июля ему же:

«Что ты делаешь? ожидаешь ли своих денег и выручишь ли ты меня из сетей Догановского?»

Известному игроку Огонь-Догановскому Пушкин должен был 25 тысяч.

Как и все узлы последних шести лет, узел денежный завязался в 1831 году.

В феврале этого года Пушкин писал Плетневу:

«Через несколько дней я женюсь: и представлю тебе хозяйственный отчет: заложил я моих 200 душ, взял 38 000 – и вот им распределение: 11 000 теще, которая непременно хотела, чтоб дочь ее была с приданым, – пиши пропало.

10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остаются 17 000 на обзаведение и житье годичное».

Он плохо рассчитывал бюджет. Не хватило 17 000. Не хватило и тех, что получал он от Смирдина. Его письма царскосельского лета полны денежными расчетами. А ведь это были самые благополучные месяцы.

В последнее время перед женитьбой он неудачно играл. Образовались большие карточные долги.

Ему нужен был покой и независимость. Самая простая, бытовая, материальная. Быт Карамзина...

Для этого нужно было прежде всего рассчитаться с долгами.

10 января 1832 года:

«Мой любезный Павел Воинович, дело мое может быть кончено на днях; коли бриллианты выкуплены, скажи мне адрес Рахманова. Я перешлю ему покамест 5500 рублей; на эти деньги пусть перешлет он мне бриллианты (заложенные в 5500). Остальные выкуплю, перезаложив сии. Сделай милость, не поленись отвечать мне. Весь твой».

15 января 1832 года:

«Боюсь я, любезный Михаило Осипович, чтоб долгая разлука совсем нас не раззнакомила; однако попытаюсь напомнить тебе о своем существовании и поговорить о важном для меня деле. Надобно тебе сказать, что я женат около года и что вследствие сего образ жизни моей совершенно переменялся, к неопisanному огорчению Софьи Остафьевны и кавалергардских шаромыжников. От карт и костей отстал я более двух лет; на беду мою, я забастовал, будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатой карточных долгов, расстроили дела мои. Теперь обращаюсь к тебе: 25 000, данные мне тобой заимообразно, на три или по крайней мере на два года, могли бы упрочить мое благосостояние. В случае смерти есть у меня имение, обеспечивающее твои деньги. Вопрос: можешь ли ты мне сделать сие, могу сказать, благодеяние».

Это письмо старому приятелю и собутыльнику Судиенко. Денег Судиенко не дал.

А петербургская жизнь была, разумеется, дороже царскосельской. И винить было некого. Никто его не заставлял. Он сам выбрал эту жизнь.

Жалованья назначенного он все не получал.

3 мая он, потеряв терпение, написал Бенкендорфу:

«Генерал, Его величество, удостоив меня вниманьем к моей судьбе, назначил мне жалование. Но так как я не знаю, откуда и считая с какого дня я должен получать его, то осмеливаюсь обратиться к Вашему превосходительству с просьбой вывести меня из неизвестности. Благоволите простить мою докучливость и отнестись к ней со свойственной Вам снисходительностью».

Но письмо это отнюдь не сразу возымело действие...

В сознании читающей публики – и, стало быть, покупателя книг – Пушкин был прежде всего автором поэм. Именно поэм ждали от него. Новый «Бахчисарайский фонтан», новых «Цыган»... Именно поэмы могли принести крупные гонорары. Поэмы с романтическим сюжетом спасли бы его от безденежья.

4

Ему было не до поэм. Его исторические планы оформлялись в уме его и не давали покоя. Ему хотелось начать работу в архивах немедленно.

12 января Нессельроде запрашивал Николая – на всякий случай, – ко всем ли документам можно допускать Пушкина.

«Осмеливаюсь испросить, благоугодно ли будет Вашему императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся, как то: о первой супруге его, о царевице Алексее Петровиче; также дела бывшей Тайной канцелярии».

Нессельроде сомневался. Он хотел предостеречь государя, который дал этому сомнительному титулярному советнику разрешение на вход в архивы, явно не подумав о тех весьма щекотливых и прямо касающихся чести императорской фамилии документах, которые могли попасть в руки нескромному читателю.

Царь понял свой промах. И 15 января Нессельроде сообщил тайному советнику Блудову, знатоку петровского архива:

«Его императорское величество ⟨...⟩ повелели ⟨...⟩ чтобы из хранящихся в здешнем Архиве дел секретные бумаги времен императора Петра I открыты были г. Пушкину не иначе как по назначению Вашего превосходительства и чтобы он прочтением оных и составлением из них выписок занимался в Коллегии иностранных дел, и ни под каким видом не брал бы вообще всех вверяемых ему бумаг к себе на дом».

19 января Блудов обратился к Пушкину:

«Милостивый государь Александр Сергеевич. Г-н вице-канцлер сообщает мне, что по всеподданнейшему докладу его о дозволении Вам пользоваться находящимися в архивах Министерства иностранных дел матерьялами для сочинения истории императора Петра Первого его императорское величество изъявил на сие высочайшее соизволение с тем, чтобы вообще чтением вверяемых Вам бумаг того времени и выписками из оных Вы занимались в самом Архиве и чтобы из числа помянутых бумаг секретные были открываемы Вам по моему назначению».

К нему, таким образом, была приставлена нянька. С Карамзиным ничего подобного не проделывали. Но, по правде сказать, Блудов ему не очень мешал. Они встретились в феврале и договорились о порядке работы.

Пушкин вошел в архивы.

Быть может, впервые в русские архивы – плохо разобранные, строго охраняемые, набитые бездной ценнейших документов – вошел человек, так идеально подготовленный для жизни среди этих взывающих к потомкам бумаг. Вошел человек с чутьем великого историка. Вошел ученый, желающий не подбирать факты к любезной его сердцу идее, но ищущий понять эту историю – разбросанную, кровавую, скрытную, выталкивающую на поверхность малозначащее и прячущую в глубине свои роковые движения. Недаром же мыслителям, говорившим об особой судьбе России, приходилось больше опираться на ощущения, чем на факты. И тем не менее они были правы.

Он был из тех немногих людей своего века, которые хотели понять судьбу России, исходя из фактов. Для этого требовалась изнурительная работа архивиста-историка. Он был к ней готов.

Он держал в руках опись «Дела под названием „Архив императора Петра I“».

Это был океан документов. Часть из них была опубликована, но это ненамного уменьшало трудность будущей работы. Трудности не пугали его.

К постоянному изучению петровских бумаг Пушкин приступил не сразу.

17 февраля он получил письмо от Бенкендорфа:

«Шеф жандармов, командующий императорскою главною квартирою, генерал-адъютант Бенкендорф, свидетельствуя свое почтение Александру Сергеевичу, честь имеет препроводить при сем один экземпляр полного собрания законов Российской империи, назначенного Александру Сергеевичу в подарок его императорским величеством».

Это было понятно – лицу, занимающемуся изучением российской истории, лицу официальному, следовало знать законы империи, которые были как бы результатом самой этой истории.

24 февраля историограф Пушкин ответил шефу жандармов, командующему главною императорскою квартирою, генерал-адъютанту Бенкендорфу:

«С чувством глубочайшего благоговения принял я книгу, всемилостивейше пожалованную мне его императорским величеством. Драгоценный знак царского ко мне благоволения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда и который будет означен если не талантом, то по крайней мере усердием и добросовестностью.

Ободренный благосклонностью Вашего высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь побеспокоить Вас покорнейшею просьбою: о дозволении мне рассмотреть находящуюся в

Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его Истории Петра Великого».

29 февраля он получил дозволение. Получил дозволение в изъятие из строжайшего правила, введенного императором, – исследовать библиотеку Вольтера категорически запрещалось. Очевидно, император считал, что слишком много государственных и прочих тайн, совершенно необязательных для простых смертных, знал этот французский проныра.

В марте Пушкин начал работать в библиотеке Вольтера, купленной некогда Екатериной II и находившейся теперь в Эрмитаже.

Там были редчайшие документы. Недаром Вольтер «собирал рукописи по всей Европе» – как он сам говорил. Кроме тех петровских материалов, которые получил из России. Там были, например, мемуары послов, аккредитованных при русском дворе во времена Петра.

Разбирая архивные тексты, обдумывая план труда, Пушкин отнюдь не забывал, что исторические его штудии – только часть задачи. Хотя и весьма важная.

5

В январе 1832 года в Москве вышел первый номер журнала «Европеец», который издавал Иван Васильевич Киреевский. Молодой Киреевский был человеком не только большого ума и образованности, но и превосходных нравственных качеств. Пушкин Киреевского ценил, изданию журнала радовался и собирался в нем сотрудничать. Это было если не собственное издание, то, во всяком случае, безусловно дружественное.

Вышло два номера журнала. Затем его закрыли.

«Журнал „Европеец“ издается с целью распространения духа свободомыслия. Само по себе разумеется, что свобода проповедуется здесь в виде философии, по примеру германских демагогов Яна, Окена, Шеллинга и других, и точно в таком же виде, как сие делалось до 1813 года в Германии, когда о свободе не смели говорить явно. Цель сей философии есть та, чтоб доказать, что род человеческий должен стремиться к совершенству и подчиняться одному разуму, и как действие разума есть *закон*, то и должно стремиться к усовершенствованию *правлений*. Но поелику разум не дан в одной пропорции всем людям, то совершенство состоит в соединении многих умов воедино, а вследствие сего разумнейшие должны управлять миром. Это основание республик. В сей философии все говорится под условными *знаками*, которые понимают адепты и толкуют профанам. Стоит только знать, что *просвещение* есть синоним *свободы*, а деятельность *разума* означает *революцию*, чтобы иметь ключ к тайнствам сей философии».

Так ясно и просто растолковывался в доносе на Киреевского злонамеренный смысл его выступления на поприще русской журналистики.

Разумеется, никакого «усовершенствования правлений» допускать не следовало. А потому – в полном соответствии с толкованием неизвестного нам доносчика – граф Бенкендорф, шеф жандармов и командующий императорской главной квартирой, писал князю Ливену, министру народного просвещения, 7 февраля 1832 года:

«Государь император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве Иваном *Киреевским* журнала под названием „Европеец“ статью *Девятнадцатый век*, изволил обратить на оную особое свое внимание. Его величество изволил найти, что все статьи сии есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. – Но стоит обратить только некоторое внимание, чтоб видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, понимает совсем иное; что под словом *просвещение* он понимает *свободу*, что *деятельность разума* означает у него *революцию*, *искусно отысканная середина* не что иное, как *конституция*. Посему его величество изволит находить, что статья сия не должна быть дозволена в журнале литературном, в каковом воспрещено помещать что-

либо о политике, и как, сверх того, она статья, невзирая на ее наивность, писана в духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре одной пропускать».

Здесь два обвинения. Во-первых, политическая статья напечатана в литературном журнале, что запрещено. Во-вторых, статья эта зашифрованная и проповедует «усовершенствование правлений», то есть революцию.

Киреевский отнюдь не был революционером. Статья его была зашифрована не более, чем приказ о закрытии журнала. Умная статья эта трактовала проблемы культурно-философские, очень для России важные, но ничего революционного в ней не содержалось. И только бредовое полицейское сознание могло в ней эту зашифрованную революционность усмотреть.

Но это была особенность сознания. Как мы помним, в тот же день – 7 февраля – Бенкендорф отправил Пушкину резкий запрос по поводу «Анчара», и Пушкин в черновом варианте ответа писал:

«Подвергаясь один особой, от Вас единственно зависящей цензуре – я, вопреки права, данного государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре, ибо весьма простым образом – сия цензура будет смотреть на меня с предубеждением и находить везде тайные применения, allusions и затруднительности – а обвинения в применениях и подражениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом *дерево* будут разуметь конституцию, а под словом *стрела* самодержавие».

Пушкин писал это около 20 февраля, когда подробности дела Киреевского были уже известны ему, и сарказм его относится не только к истории с «Анчаром».

Надежды на «Европейца» рухнули. Надо было думать снова о своей газете.

Письмо Бенкендорфа Ливену важно в двух отношениях. Во-первых, оно объясняет, почему Пушкин так добивается именно политической газеты. Дело было не только в том, что политическая газета лучше расходилась бы. В литературном издании запрещалось говорить о политике. Не только вещи неблагонамеренные. Любые. А ему нужно было говорить именно о политике. Во-вторых, письмо это дает представление, в какой идиотической атмосфере сыскного восторга собирался он стать журналистом.

Разумеется, он колебался. Но газета была ему необходима. И он снова решился.

27 мая он писал Бенкендорфу:

«Теперь позвольте мне беспокоить Вас по некоторому личному делу. До сих пор я сильно пренебрегал своими денежными средствами. Ныне, когда я не могу оставаться беспечным, не нарушая долга перед семьей, я должен думать о способах увеличения своих средств и прошу на то разрешения Его величества. Служба, к которой он соблаговолил меня причислить, и мои литературные занятия заставляют меня жить в Петербурге, доходы же мои ограничены тем, что доставляет мне мой труд. Мое положение может обеспечить литературное предприятие, о разрешении которого я ходатайствую, – а именно: стать во главе газеты, о которой господин Жуковский, как он мне сказал, говорил с Вами».

Стать во главе газеты. Царь дал согласие.

Многие серьезные литераторы, узнав об этом, выразили свой восторг. Они, несомненно, смотрели на будущее издание как на предприятие литературное.

В публике, однако, раздавались голоса, сетующие на то, что романтический поэт с «созерцательной, идеальной душой» из соображений меркантильных опускается до низменного ремесла журналиста. Вспоминали о временах «Бахчисарайского фонтана». В этих людях жило – и будет жить до конца – полное непонимание процессов, которые происходили в сознании Пушкина.

Публика. И если бы только публика. Гоголь писал, имея в виду Пушкина, в ноябре 1832 года:

«В нынешнее время приняться за опозоренное ремесло журналиста не слишком лестно и для неизвестного человека, но гению этим заняться – значит помрачить чистоту и непорочность души своей и сделаться обыкновенным человеком».

И тут все тот же романтический слепой взгляд. А ведь это Гоголь.

Павел Вяземский вспоминал:

«Семейство наше переехало в Петербург в октябре 1832 года. Я живо помню прощальный литературный вечер отца моего с его холостой петербургской жизнью, на квартире в доме Межуева у Симеоновского моста. В этот вечер происходил самый оживленный разговор о необходимости положить предел монополии Греча и Булгарина и защитить честь русской литературы, униженной под гнетом Булгарина, возбуждавшего ненависть всего Пушкинского кружка более, чем его приятель. За Греча прорывались изредка и сочувственные возгласы. И в этот вечер речь шла о серьезном литературном предприятии, а не о ежедневной политической газете».

Последняя фраза весьма осведомленного Павла Вяземского многое объясняет. Для «Пушкинского кружка» ежедневная политическая газета отнюдь не была «серьезным литературным предприятием». Серьезным предприятием она была только для самого Пушкина. За этой фразой стоят мучительные разногласия Пушкина и его ближайших друзей. Друзей, которые в самом серьезном для Пушкина деле не могли стать его соратниками.

Разумеется, многие из них радовались возможному появлению пушкинской газеты, но радовались как событию *литературному*. Вяземский писал И. И. Дмитриеву:

«В литературном мире, за исключением обещанного позволения, данного Пушкину, издавать газету и с политическими известиями, нет ничего нового. Но и это – важное событие, ибо подрывается журнальный откуп, снятый Гречем и Булгариным».

Самое главное для Вяземского то, что «подрывается» журнальная позиция «Северной пчелы».

Однако он только повторяет слова Пушкина.

В начале сентября Пушкин писал Погодину:

«Какую программу хотите Вы видеть? Часть политическая – официально ничтожная; часть литературная – существенно ничтожная; известие о курсе, о приезжающих и отъезжающих: вот вам и вся программа. Я хотел уничтожить монополию, и успел. Остальное мало меня интересует. Газета моя будет немного похуже *Северной Пчелы*. Угодать публике я не намерен; браниться с журналами хорошо раз в 5 лет, и то Косичкину, а не мне. Стихотворений помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публикой; на то проза – мякина. Одно меня задирает: хочется мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы».

Странное это письмо. Раздраженное. Может быть, надо делать поправку на изменившееся в то время отношение Пушкина к Погодину.

Да и вообще концы с концами не сходятся. Стоило ли столько стараться, так упорно добиваться разрешения на издание, чтобы издавать нечто совершенно невразумительное – хуже «Северной пчелы»? Неужели Пушкиным, три года осаждавшим правительство просьбами, двигало только стремление насолить Булгарину и Гречу?

Он столько раз выдвигал на первый план денежный свой интерес. А какую выгоду могла принести газета, столь мало привлекательная для подписчиков?

И стоило ли издавать *политическую* газету специально для того, чтобы обругать в ней французскую литературу? Это Пушкин мог сделать и в чужих журналах. Или – во всяком случае – в собственном *литературном* издании.

Таким образом, письмо Погодину, где Пушкин суммирует обычные свои мотивы, якобы заставлявшие его издавать газету, своей противоречивостью доказывает, что мотивы эти были отнюдь не главными.

Главные мотивы Пушкин держал про себя. Ему не с кем было ими делиться.

Иногда только он приоткрывался. Дневник Муханова:

«5 июля. Пушкин говорил долго. Квасной патриотизм. Цель его журнала, как он ее понимает, доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как доселе было. Водворить хочет новую систему. Я много ожидаю добра от сего журнала».

Что можно понять несомненно из этой скупой записи? Что Пушкин в своем издании собирался выступать против квасного патриотизма. Что он надеялся привлечь правительство на свою сторону, стать доверенным лицом правительства в журналистике, дискредитировав Булгарина и его партию. Все это необыкновенно важно. А фраза «Водворить хочет новую систему» открывает масштаб замыслов.

И не расшифровывается ли эта фраза заметкой 1831 года?

«Журнал в смысле, принятом в Европе, есть отголосок целой партии, периодические памфлеты, издаваемые людьми, известными сведениями и талантами, имеющими свое политическое направление, свое влияние на порядок вещей. Сословие журналистов есть рассадник людей государственных... Что тут общего с нашими журналами и журналистами?.. Спрашиваю, по какому праву „Северная пчела“ будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь „Северный Меркурий“?»

«Водворить хочет новую систему...» Однако вернемся к хронологии.

Получив разрешение издавать газету, Пушкин сделал шаг, который, очевидно, немало удивил его современников и многие годы приводил в недоумение исследователей.

В письме Греча Булгарину от 1 июня 1832 года есть таинственная фраза:

«С Пушкиным мы сходимся довольно дружно, и, я надеюсь, сойдемся в деле. Но, ради бога, не думай, чтоб я тобой пожертвовал. Улажу все, к общему удовольствию».

В течение последующих двух месяцев Греч несколько раз упоминает о предприятии Пушкина, и наконец 3 сентября кое-что разъясняется:

«Теперь о важном деле. За несколько дней перед сим встречается со мной на улице Пушкин и объявляет, что вступает на поприще журналиста. Я его поздравляю и желаю терпения. *Пушкин.* „Ах, если бы издавать с вами, то было бы славно“. *Я.* „А почему нет? Я не прочь – вы знаете“. – Тут он начал жаловаться, что его разобидели в *Северной Пчеле* и что он желал бы сладить дело, но не знает, как согласовать разные требования, и наконец обещал прийти ко мне и поговорить».

Судя по фразе: «Я не прочь – вы знаете», – у Пушкина с Гречем уже были разговоры на эту тему. Греч, очевидно, имеет в виду переговоры с Пушкиным в конце 1831 года, о которых он рассказал позже в «Записках», и какие-то дела в мае 1832-го.

В сентябре Пушкин предложил Гречу следующее: издавать совместно еженедельную газету. Греч согласился и получил разрешение от своего компаньона Булгарина. Ведь Греч не хотел оставлять и «Северную пчелу». Но поэт тут же раскаялся в этом отступлении от первоначального своего плана.

Греч пишет Булгарину:

«На другой день по отправлении к тебе письма виделся я с Пушкиным. Он сказал мне, что переменял мысли свои... хочет издавать газету три раза в неделю и просит меня войти с ним в половину и печатать ее у меня в типографии. Он обязуется доставлять статьи. Мое дело было бы только смотреть за редакцией и за переводом статей газетных».

Аргументы Греча в пользу этого альянса любопытны.

«Мое мнение: зачем выпускать из рук П. и его партию? Мы уничтожим всякое дурацкое совместительство и к 1834 году наверное соединимся в одной газете. Если мне нельзя будет за это взяться, возьмется другой и напакостит и нам, и Пушкину. Об интересах денежных не говорю: они будут ничтожны, ибо и сам Пушкин надеется иметь не более 1000 подписчиков».

Булгарин на этот вариант не пошел – сотрудничество Греча и Пушкина не состоялось.

Из всей этой истории можно сделать несколько существенных выводов.

Прежде всего совершенно ясно, что в газете своей Пушкин менее всего собирался заниматься борьбой литературной. Ибо одним из главных условий Греча была неприкосновенность Булгарина. Пушкин это условие принял.

Греч нужен был ему исключительно как опытный организатор и владелец типографии. Материалы для газеты он собирался поставлять сам. Этим снимается вопрос о романтической лени Пушкина и его разбросанности, которые, по мнению многих, мешали ему приступить к изданию газеты. Он чувствовал в себе силы для этого труда.

И наконец, последняя фраза Греча окончательно хоронит меркантильную мотивировку пушкинских действий как главную. Расчет тут очень прост. Три тысячи подписчиков «Северной пчелы» доставляли восемьдесят тысяч дохода. Тысяча подписчиков должна была доставить около двадцати шести тысяч. Отдавая половину Гречу, Пушкин получал бы в год не более тринадцати тысяч.

Но эту сумму он мог иметь без таких хлопот. Тот же Греч, по свидетельству современника, предлагал Пушкину за сотрудничество в «Сыне отечества» тысячу двести рублей в месяц, то есть больше, чем тринадцать тысяч в год.

Стоит напомнить, что позже Пушкин отказался от выгодного предложения Смирдина и стал издавать очень невыгодный материально, но *свой* «Современник».

Из всей этой истории ясно, как необходим был Пушкину свой орган и дельные сотрудники, если уж он пошел на переговоры с Гречем. С тем Гречем, которого так презрительно заклеймил год назад в статьях Косичкина.

Необходимость высокая, а не низменная, чувство долга перед Россией, а не только забота о заработке заставляли его лихорадочно искать средств для воздействия на умы русской публики.

16 сентября Пушкин вступает в договор со второстепенным литератором Наркизом Ивановичем Тарасенко-Отрешковым, который и должен был взять на себя обязанности редактора газеты. Ему отводилась, конечно, та же техническая роль, что и Гречу.

Но 24 ноября Вяземский уже сообщил Александру Ивановичу Тургеневу:

«Пушкин единогласно избран членом Академии, но чтобы не слишком возгордился сею честью – вместе с ним избран и Загоскин. Журнал его решительно не состоится, по крайней мере на будущий год. Жаль. Литературная канальская шайка Грече-Булгаринская останется в прежней силе».

Сожаления Вяземского опять-таки идут по чисто литературной линии.

Почему же не состоялось издание? Понял ли Пушкин посредственность и ненадежность Отрешкова? Возможно. Устрашила ли его судьба «Европейца»? Возможно. Он ведь понимал, что ежели газету закроют, то другой вовек не дадут. А он собирался помещать вовсе не ту блеклую бессмыслицу, о которой писал Погодину. Быть может, он решил выждать более подходящий момент.

Но скорее всего, объяснение содержится в письме Плетнева Жуковскому:

«Издание газеты, о которой так хлопотал Пушкин еще при вас, едва ли приведется в исполнение, хотя ему и дано на то право. Он более роется теперь по своему главному труду, то есть по истории, да, кажется, в его голове и роман колышется».

Роман этот – «Дубровский» – был начат 21 октября 1832 года. Роман связан был с тем же великим планом, который погнал Пушкина в службу, ввел в архивы, заставил добиваться политической газеты. С тем гигантским историческим чертежом прошлого и будущего, создать который он вменил себе в долг. С той борьбой с Россией за Россию, которой требовала от него его честь.

Он понял, что при отсутствии дельных сотрудников ему со всеми этими трудами не совладать.

И он отложил издание газеты.

6

История несостоявшейся газеты, тот чудовищный факт, что ему пришлось вести переговоры с Гречем, цену которому он прекрасно знал, – все это заставило его еще раз осмотреться вокруг и подумать о людях, которые его окружали.

Были люди официальные, с которыми приходилось иметь дела.

Был Бенкендорф. И тут все было ясно.

Был Блудов – опекун в архивных делах. Видеться с ним в это время приходилось постоянно. Анненков, со слов современников, говорил:

«С зимы 1832 года он (Пушкин) стал посвящать все свое время работе в Архивах, куда доступ был ему открыт еще в прошлом году. Из квартиры своей на Морской отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью».

Следовательно, Блудов находился, как правило, поблизости.

Они были хорошо знакомы еще с тех времен, когда оба состояли членами «Арзамаса». Но в 1832 году бывший арзамасец Блудов был уже министром внутренних дел. Его карьера началась в 1825 году, когда он получил назначение делопроизводителем Верховной следственной комиссии, допрашивавшей декабристов. Это, однако, было в тот момент делом обыкновенным. Руководил судом, как известно, Сперанский – известный либерал, которого декабристы прочили во временное правительство и с которым вели переговоры накануне восстания. Сперанский плакал по ночам, но судил.

Блудов был «очень умен, образован и крайне добр; но характером он был слаб и труслив. В те дни, когда он отправлялся к Императору, он был весь не свой: не слушал, не понимал того, что ему говорили, вскакивал беспрестанно, смотрел ежеминутно на часы и непременно посылал поутру сверять свои часы с дворцовыми... В большой упрек ему ставили написанное им Донесение следственной комиссии по делу 14 декабря. Конечно, оправдывать я его не буду; но в извинение его могу сказать, что он в этом уступил воле Императора...» – так писал близко знавший его современник – А. П. Кошелев.

Как ни деградировало русское общество после 14 декабря, но каинова печать все же доставляла некоторые неприятности тем, кто приложил руку к уничтожению декабристов.

«Александр Тургенев встречал графа Блудова у Карамзиной. Блудов – воплощенная доброта и совсем не злопамятный – протянул руку Тургеневу, который ему сказал: „Я никогда не подам руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату“. Представьте себе всеобщее замешательство, и я там присутствовала... Бедный Блудов вышел со слезами на глазах».

Это рассказ Смирновой-Россет.

Этот бедный Блудов «со слезами на глазах», воплощенная доброта, подписавший смертный приговор Николаю Тургеневу, в доме у которого он перед тем постоянно бывал, сделался теперь как бы патроном Пушкина.

Муханов описывает в дневнике такую сцену у Вяземского летом 1832 года:

«Наконец пришел человек объявить, что приехал Д. Н. Блудов... Блудов сказал Пушкину, что о нем говорил государю и просил ему жалованья, которое давно назначено, а никто давать не хочет. Государь приказал поговорить с Нессельроде. Станный ответ: я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа. – Почему же не от вас? Не все ли равно, из одного ящика или из другого? – Для того, чтобы избежать дурного примера. – Помилуйте, – возразил Блудов, – ежели бы такой пример породил нам хоть нового *Бахчисарайского Фонтана*, то уж было бы счастливо <...> Мы очень сему смеялись. Пушкин будет издавать газету под заглавием *Вестник*; будет давать самые скорые сведения из министерства внутренних дел.

Пушкин, говоривший до сего разговора весьма свободно и непринужденно, после оногo тотчас смешался и убежал».

Они очень сему смеялись, а Пушкин почему-то смешался и убежал. Смеяться, прямо скажем, было нечему. Все здесь оскорбительно. И эта торговля: кто будет платить жалованье чиновнику-иждивенцу – III Отделение или Министерство иностранных дел? И этот разговор о «Бахчисарайском фонтане», поэме десятилетней давности, как о его высшем достижении. И сам факт, что за него хлопчат ренегат Блудов. Все это было не смешно. Но нужно было через это переступить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.